

4(23)

1003240

19622

ТАТАИ

19622

Электронная библиотека АКУНЬ, elibrary.ru



А521	1003240
Кр	Алтай
	40к.

~~С. 02107 № 204 (20/000)~~
МБН

1003240

*

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

A521 кр

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

В номере:

«Семнадцать», «Кривая жизнь»—рассказы.

«Корочка хлеба»—быль

Интересная археологическая находка на Чарыше

На охотничьих тропах

Сатира и юмор

АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Барнаул 1962

4(23)

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.aunib.ru

7 сатира

e

РС

4003240 - ЭК

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий Прохоров. Алтайские мотивы. Стихи.	3
С. Саунин. Семнадцать. Рассказ.	5
Владимир Леонович. Слова. Голуби. Поэты. Янтарь. Лайнер и бабочка. Стихи.	12
Иннокентий Кудинов. Корочка хлеба. Быль.	17
В. Казаков. Птицы. Стихи.	44
М. Черток. Из отпуска. Рассказ.	45
А. Семенов. Микиток. Рассказ.	49
Василий Казанцев. Лица. Рука. Стихи.	53
Ф. Моисеенко. Кривая жизнь. Рассказ.	54

НАШИ СОВРЕМЕННОКИ

Е. Швецова. Сказка о гадком утенке. Очерк.	70
--	----

ЛЮДИ НЕОБЫЧНОЙ СУДЬБЫ

Л. Квин. Встреча с легендой.	75
--------------------------------------	----

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

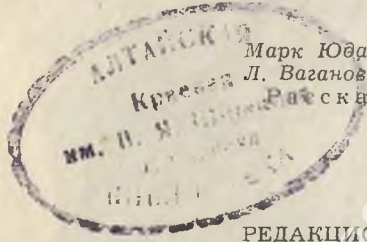
А. Уманский. Современник грозного Аттилы	79
--	----

НА ОХОТНИЧЬИХ ТРОПАХ

В. Савинов. За белкой-телеуткой.	94
--	----

САТИРА И ЮМОР

Марк Юдалевич. Вежливость. Глаза. Стихи.	101
Л. Ваганов. Искатель жемчуга. Большой специалист. Рассказы.	103



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Л. Квин (редактор), А. Баздырев,
А. Бутаков, Н. Дворцов, И. Казанцев, Б. Кауров, И. Масаулов,
М. Юдалевич.

Технический редактор Г. Жданова. Корректоры Л. Конева,
М. Штремлева. Обложка художника З. Горфинкеля.

Сдано в набор 23. XI. 1962 г. Подписано к печати 15. II. 1963 г.
Формат 70×92¹/₁₆ — 6.75-7.89 усл. п. л. (8,22 уч-изд. л.)
АГ 00584. Заказ 5899. Тираж 3 000 экз. Цена 40 коп.

Алтайское книжное издательство, Барнаул, М. Горького, 39.
Типография «Алтайская правда», Барнаул, Короленко, 105.

Электронная библиотека Алтайlib.ru

Кош-Агач.
Это к кедру привязанный
ветер,
Это синие на солнцепеках
гольцы,
Где седым чабаном много
песен пропето,
Где колючие травы остры,
как резцы.

К Кош-Агачу бредут,
спотыкаясь, верблюды,
На горбах неуклюжих качается
кладь,
Сарлыки исподлобья глядят,
крутогруды,
Чуть заметными красными
щелками глаз.

Кош-Агач.
Как морщины, гранитные
складки —
Отпечатки веков —
У тебя на щеках.
Кош-Агач.
Ведь тебе это машут палатки,
Что разбили ботаники здесь
второпях.

Они слушают древнее степи
дыханье,
Микроскопами всматриваются
в лепестки,
Чтоб понять, как ты ловко в
шерстинки бараны
Превращаешь зеленые трав
завитки.

С. Саунин

ШЕШНАДЦАТЬ

Рассказ

*Воронежским строителям
посвящается.*

Свою биографию бригада начала с невероятной выходки.

Однажды шестнадцать строителей толпой ввалились в приемную начальника треста.

— Нельзя, — предупредила их секретарь. — Они заняты, — добавила она привычно.

— Нам срочно, — мягко попросил бригадир Костя Семушкин.

— Повторяю, они заняты. Кроме того, рабочий день уже закончился, молодые люди...

— Мы потому и пришли сейчас, что в рабочее время обычно много заняты, — перебил ее Костя.

«Наглый парень, — подумала секретарь. — И улыбка наглая. И карие глаза нагло смеются».

Она уже собиралась дать несколько полезных советов относительно того, как надо вести себя в государственном учреждении. Но взяла себя в руки и спокойно спросила:

— По какому делу?

— По делу о строительстве коммунизма.

— Ни больше, ни меньше?

— Ни больше, ни меньше, — подтвердил Костя и уточнил: — Видите ли, у нас в тресте есть люди, которые мешают строительству коммунизма.

— Ну, это уж слишком, — поднялась из-за стола секретарь, давая понять, что разговор окончен. — Приема не будет.

И в то же мгновение она увидела, что наглые глаза перестали сме-

яться. Теперь они смотрели на нее двумя черными беспощадными зрачками. Костя кивнул ребятам и, прежде чем секретарь успела что-нибудь предпринять, ребята длинной цепочкой потянулись в кабинет. Когда последний из парней скрылся за тяжелой дверью, обитой черным, блестящим дерматином, секретарь испугалась. Непонятный страх холодной, липкой рукой сжал сердце. Она долго смотрела на медную дощечку с надписью «Управляющий трестом», потом сняла трубку городского телефона и позвонила в милицию.

А за дверью в это время происходило следующее.

— Я не могу принять вас сегодня, молодые люди, — не поднимая массивной головы, сказал Сам. — Но даже если бы и мог, не сделал бы этого. Вы знаете мое правило: в рабочей одежде не принимаю. А послезавтра — пожалуйста. Только сначала переоденьтесь и приходите не все сразу, а по одному, предварительно записавшись на прием. Вот так!

— А мы решили ликвидировать все ваши барские замашки вместе с вами. Вот так, — равнодушно сказал Костя и посмотрел в окно.

— Что ты сказал? — по слогам спросил Сам.

— И не забудьте говорить мне «вы»: не люблю панибратства. По поручению комсомольской группы, она же — будущая комплексная бригада (шестнадцать голов дружно кивнули) — так вот, по их поручению заявляю, что вы сами вор, развели в тресте воров и защищаете их. Мы считаем, что ваше место не за этим столом, а за решеткой. Подробно-сти на суде. Все это я говорю вам в надежде, что вы сами добровольно отдадите себя и некоторых других в руки правосудия — может быть, суд примет во внимание. Или хотя бы примите меры защиты — мы не умеем бить из-за угла. Но предупреждаю, защищаться вам будет трудно. Прямо скажем, невозможно...

Бесшумно открылась дверь кабинета и на пороге появились четыре милиционера...

Эту ночь семнадцать провели в не особенно уютном помещении отделения милиции.

А через полгода Сам и несколько его помощников в сопровождении обязательного в таких случаях почетного эскорта отбыли на различные сроки в места довольно отдаленные.

В тот же день бригаду Кости Семушкина впервые назвали лучшей и перевели на отстающий объект.

С тех пор так и работали они почему-то только на самых трудных участках.

Попробовали обидеться:

— Мы что, двужильные? Или нам меньше всех заработать надо? — ехидно спросил Костя нового управляющего, встретив его на своем объекте.

— Нет, просто в нашем тресте вы — часть особого назначения. Знаете, что это такое, или объяснить?

— Знаем, — неуверенно ответили несколько голосов. — А вы сами работали в ней?

— Вот именно работал, — усмехнулся управляющий. — Так вот вы — часть особого назначения, а поэтому вам доверяются самые трудные задания...

— О какой-то чести говорил руководящий товарищ? — озадаченно спросил Костя в обеденный перерыв. Он лежал на бетонной плите, прикрыв лицо фуражкой от неяркого осеннего солнца.

— Дьявол ее знает, — отозвался кто-то.

— Часть особого назначения — это чон. А чоновцы это те, кто служил в ней, кажется, комсомольцы... — пояснил другой.

— Ну, а поточнее? Никто не знает? Эх, темнота. И как только я попал в эту компанию невежд! — возмутился Костя.

— Ты наш идейный вдохновитель, «комсомольский вожак», как выразилась недавно трестовская многотиражка, да и бригадир по совместительству. Вот и выясни, кто такой чон и с чем его раньше кушали. Мы тебе доверяем. Ребята, напишите кто-нибудь доверенность.

— Хватит трепаться, работать надо, — огрызнулся Костя, вставая.

Вечером он отправился в библиотеку. И несколько не удивился, увидев здесь бригаду в полном составе: так уж повелось — все делать вместе.

Вскоре они уже отлично знали, что такое части особого назначения. Книги на эту тему пользовались особым вниманием семнадцати.

Ранней весной бригаду пригласили в горком комсомола. Семнадцать сидели в большом кабинете, маленький, сухой хозяин которого стоял у огромной карты.

— Повторяю, — заканчивал он долгий разговор, — путь у вас далекий. Отсюда до главного города Алтая четыре тысячи километров. Там вам точно укажут, где строить зерносушилку. Но, вероятнее всего, вот здесь, — он обвел жирным красным кружком название города на юге Алтая, недалеко от границы с Казахстаном. — Словом, выстроить и сдать объект к началу уборки нового урожая — задание ответственное, почетное, боевое, если хотите. Сейчас молодые строители всей страны получают такие же задания. Короче, считайте себя частью особого назначения комсомольской организации нашего города. А через три месяца мы приедем на вокзал встречать вас как победителей.

Семнадцать дружно поднялись, шумно двигая стульями.

Проводы не были торжественными. Ревущие оркестры, пламенные лозунги и горячие речи отсутствовали. На этом настояли сами отъезжающие. Присутствовали только плачущие мамы, у некоторых были и папы. Со своими подружками ребята попрощались несколько ранее.

И только Костю провожала девушка. Кроме нее, у бригадира никого близких не было, если, разумеется, не считать шестнадцати.

Ганя и Костя стояли под огромными вокзальными часами и вели прощальный разговор.

— Будут ли у грозного повелителя указы, советы, распоряжения?

— Нет, — отвечал Костя, — не будут. Наказывай, советуйся и распоряжайся собой сама по собственному усмотрению.

— Может, будут какие-нибудь запреты, например, запрет ходить на танцы?

— Другому кому-нибудь запретил бы...

— И не ждать тебя?

— Пожалуй, не жди, — помедлив, ответил Костя.

— Бревно бесчувственное, дуб зеленый! — рассердилась Таня. — Все девчонки твоих друзей получили наказания не ходить даже в кино!

— Как я могу запретить тебе что-нибудь? Я сам готов сделать для тебя невозможное: я ведь люблю тебя, Таня.

Костя мучительно покраснел: больше года он не мог выдать из себя эти слова.

— Что ты сказал?

— Точно!

— Что точно?

— Вот точно так переспрашивал бывший управляющий трестом прежде, чем отправить меня в милицию, — попробовал отшутиться он.

— Повтори, что ты сказал, — перебила Таня. — Я не расслышала. И, пожалуйста, не на весь вокзал. Мне одной.

Костя повторил.

— Еще раз!

— Еще!

Скрипнули и едва заметно двинулись вагоны. Таня обняла Костю.

— Ты не хотел запрещать, но я запрещаю: на сибирячек не заглядывайся, на танцы ходить не смей. В кино можно, — подумав, разрешила она, — но только с ребятами. Пиши каждый день и знай, что я жду тебя, сиротинушка ты моя горькая.

В нескладной Костиной жизни Таня была первой любовью. Первым был и ее поцелуй...

Все-таки замечательная это песня про снег и ветер и звезд ночной полет. Пять тысяч километров разведалась она, как знамя, над скорым поездом.

Четвертые сутки подходили к концу.

На большой шумной станции в вагон вошел пассажир без вещей.

— Где тут часть особого назначения? — громко спросил он.

Через несколько минут человек, оказавшийся работником Алтайского краевого комитета комсомола, вводил ребят в курс событий.

— Зерносушилку будете строить здесь, — указал он место на карте. — Это на разъезде, всего в полустах километрах от города. Обещаю все условия для ударной работы: энергичные и не очень горячие степные ветры, прохладные дожди, веселое общежитие в полевых вагончиках, баню в реке. Ну и, конечно, культурные развлечения — стадионы, парки, концерты, кино, телевидение — в городе, до которого, как я уже говорил, всего пятьдесят километров. Город большой: центр сельскохозяйственного машиностроения на юге Сибири. Так что сильное желание плюс хороший грузовик — и вы весь день культурно отдыхаете.

— Вот это да! — разочарованно протянул кто-то. — А встречный будет на следующей станции?

— Не пугайтесь, — успокоил представителя крайкома Костя. — Наша бригада — это половина класса, точнее — мужская половина класса, который два года назад был, как говорят газетчики, выпущен в жизнь. В том историческом году мы и укомплектовали нашу бригаду только из остряков-самоучек.

Еще через сутки семнадцать прибыли на место.

Представитель крайкома не обманул: картина была невеселой. У самой железнодорожной насыпи стоял маленький, подслеповатый домик, черный от дождей и времени. Это и был разъезд. Около него — еще одна избушка на курьих ножках. Крохотный огородишко, обнесенный кривыми жердями. А вокруг — огромная, необъятная, как небо, степь. И только далеко на северо-востоке, взятый чистой, звонкой синью, угадывался неведомый лес. Тяжелые серебряные клубы облаков бесчисленными этажами закрывали небо. Оно изредка просвечивало сквозь них нежнейшей голубизной.

Слабый ветерок разом усилился. Два невысоких тополя перед домиком разъезда согнулись в дугу, царапая землю едва зазеленевшими ветвями. И дождь ударил тяжелыми, как пули, каплями.

— Эй, соловьи-чижики, — раздалось с улицы, — а ну, вылазы! Хватит прятаться. Ишь замуровались! И носа не видать!

Костя выскочил из вагона на мокрую насыпь и увидел перед собой человека. Коричневое, маленькое, с кулачок, личико его сияло доброжелательными морщинами, а пожатие руки было энергичным и крепким.

— Прораб стройки, — отрекомендовался он. Его жестяной дождевик гремел, покрывая шум ливня. — А вы, значит, глава этих соловьев-чижики? Очень рад познакомиться. Слышал, слышал, как вы пели. А работаете так же хорошо? Или лучше?

Дождь прекратился неожиданно. Выглянуло солнце, и где-то в степи затерялся холодный ветер. Стало тепло и радостно. Ребята высыпали из вагона, окружили прораба. А тот воробышком вертелся во все стороны, восхищенно и весело чирикавая:

— Во какая она, степь-матушка. Своенравна, крута характером. Но и щедра, кормилица. А вон там, видите бугры? Это котлован. Наше рабочее место, соловьи-чижики. Пошли знакомиться!

Поезда на этом разъезде никогда не останавливались. Они проносились мимо, приветствуя его сиренами тепловозов да пачками почты. Но и в этом тихом, не всякому известном уголке страны жизнь билась полнокровным, размеренным пульсом. Весь день от одного края земли до другого неустойчиво ползали еле различимые жуки-тракторы, и приглушенный расстоением рокот их моторов переплетался с хрустальным перезвоном жаворонков и с песней о тревожной дали.

Семнадцать закладывали подушку фундамента зерносушилки. Прораб постоянно находился с ребятами.

— А что, не переставить ли нам маленько подальше этот столб? —

— спросил он однажды Костю. — Уж больно близко стоит к котловану. Не верю я ему. Дунет ветер покрепче — беды не оберешься.

Костя долго смотрел на столб высоковольтной линии и думал.

— Не надо. Он уже выдержал все ветры. Перестановка отнимет минимум полсмены. А мы и так отстали от плана на три дня, пока забивали этот проклятый родник в котловане. Вот к воскресенью нагоним отставание, тогда и займемся этим столбом. А вообще-то, конечно, не наше дело, а электромонтажников.

— Наше — не наше, а передвинуть придется, — возразил прораб. — Иди потом разбирайся.

К концу недели ребята сумели наверстать упущенное и войти в график. Поэтому в субботу к вечеру у всех было приподнятое настроение.

Степь незаметно темнела. Вернее, не темнела, а воздух над нею становился гуще, плотней, хотя и оставался кристально прозрачным. Далеко за краем земли садилось солнце. Оно не было ослепительным сгустком света, как в полдень. Теперь оно катилось огромным раскаленным диском. Кто-то неосторожный разлил по небу расплавленный металл. Он, медленно остывая, стекал к горизонту, скапливаясь на кромках облаков, огненными брызгами отскакивая от синих, холодных полосок железной дороги, рдел на стеклах маленьких окон разъезда.

Оставалось уложить последние кубометры бетона.

— Эй, бригадир, чего дремлешь? — кричали ребята, и Костя топорливо опрокидывал бункер бетономешалки. Бригадира слегка лихорадило. Так бывало с ним в минуты особого подъема.

Ветер налетел неожиданно.

Это не был ветер в привычном понимании слова. Разве можно назвать ветром густую, тугую, как струя воды, массу воздуха, которая залила легкие, распирала и рвала их? Ребята задыхались. Ветер поднял тучи земли, закрыл ими все небо, весь мир, забил глаза и рты. Разом свалилась ночь. В темноте кто-то упал и его с трудом поставили на ноги.

Не было слышно ничего, кроме разбойничьего свиста разбушевавшейся стихии и непрерывного стука камней о доски опалубки.

Над самой головой расколосось небо. В узкую, резко изломанную трещину хлынул поток ослепительного холодного огня. Земля под ногами вздрогнула от страшного удара, и даже упавшие с неба тонны воды не заглушили своим гулом всеподавляющих раскатов грома.

Пыль исчезла. Но ветер, свирепый и порывистый, хлестал по-прежнему, да ревел невиданной мощи ливень.

Семнадцать сбились в кучу под обрывистой стеной котлована, подавленные, испуганные, мокрые до нитки.

Вертикальные молнии огненными стрелами вонзались в землю, зло и долго дрожали. Беспрерывные раскаты грома поглотили все звуки. Вода, не утихая, падала с неба. Вернее, не падала, а просто заполнила собою все пространство между землей и небом. Черные, кипящие потоки с ревом низвергались в котлован. В несколько минут он превратился в гигантскую кипящую кастрюлю.

Ребята с тревогой услышали тяжелый стон. Это обрушился размытый край обрыва. В следующее мгновение яркий свет молнии вырвал из мглы залитый котлован, черный провал в одной из стен его и лишенный опоры столб высоковольтной линии. Он угрожающе склонился над котлованом, чудом удерживаемый на срезе обрыва натянутыми, как струны, проводами, звеневшими под ударами воды и ветра.

«Ох, надо было переставить!» — вздрогнув, подумал Костя. «Если он обрушится... Провода ведь упадут в воду, в котлован... Братская могла для всех семнадцати...»

— Всем наверх! — закричал Костя.

Но ребята словно оцепенели. Все смотрели туда, где скрытый от глаз чернильной темнотой, раскачивался над пропастью едва видимый столб.

— Наверх! Наверх!

Костя в бешенстве что было сил толкнул крайнего. Ребята будто проснулись, бросились к глинистому обрыву. Они лезли по стене, отплевывая грязь, которая бешеным потоком неслась навстречу и в союзе с неумным ветром сталкивала обратно. Мгновенья шли, а ребята все не могли выбраться. И ужас притаился за спиной: упадет или не упадет?

Кто-то, наконец, выбрался и протянул руку следующему. Костя бегал внизу, помогая друзьям. «Продержится или нет?» — думал он вместе со всеми. Жизнь половины ребят все еще висела на трех непрочных волосках проводов.

Спотыкаясь и падая, Костя побежал к столбу. «Ах, надо было все-таки переставить! А теперь...»

Вода в котловане достигла глубины полуметра. Она кипела и кружилась. Всплыли и в стремительном водовороте неслись доски, брусья. Костя схватил один из них и потащил к столбу...

Последний из ребят, подхваченный десятком рук, взлетел наверх и упал в воду, что неслась поверх травы. Страх поднимался откуда-то изнутри, сдавил горло, лишил сил. И только мозг никак не мог освободиться от одной страшной мысли: «Держится или нет?»

Очередная вспышка молнии осветила котлован. Шестнадцать спасенных увидели: раскачиваясь, столб все еще висел над обрывом. Но откуда у него появилась подпорка? Он ведь держался на одних проводах!

Догадка мелькнула у всех одновременно.

— Кого нет?

— Кости.

— Это он держит столб!

— Крепись, Костя! — закричал кто-то и, бухая пудовыми сапогами, бросился к обрыву. Следом побежали остальные. Они поняли, что бригадир подарил им те секунды, которых так не хватало, чтобы выжить.

Но сам он оказался в ловушке. Невозможно было долго держать тяжелый столб, придавленный сильной рукою бури. Он не мог и бросить его, потому что все равно не успел бы выскочить из котлована. Костя

стоял там, внизу, по колено в воде и держал этот проклятый столб, а толстый брус гнулся в его руках под непомерной тяжестью.

Ребята бежали к нему. Бежали долго, как во сне. И, как во сне, не могли добежать.

Наконец, две дрожащих руки протянулись к рубильнику, а три тени метнулись с обрыва вниз, к Косте.

Успеют подхватить шатающуюся подпорку?

Нет, не успели. Столб рухнул на несколько неувловимых мгновений раньше.

Костя упал...

Никто не заметил, когда унялась гроза. Черные тучи еще клубились в восточной стороне неба, утихающими раскатами глухо ворчал гром.

Кусочек солнца выглянул из-за далекого края земли. Какая-то птаха звонко свистнула, приветствуя мир и тишину.

Костя ничего не видел и не слышал. Он лежал на мокрой земле, большой и сильный, и черные брови его озабоченно сошлись на переносице.

А шестнадцать, за жизнь которых Костя заплатил такой дорогой ценой, молча стояли вокруг и ничем уже не могли помочь ему.

Задание было выполнено к назначенному сроку.

В тот день, когда придирчивая комиссия приняла объект, ребята отправились в райком комсомола и подали коллективное заявление с просьбой оставить их работать на построенной ими же зерносушилке.

— Почему не хотите вернуться домой? Почему разваливаете хорошую комплексную бригаду? Теперь вам придется осваивать новые специальности, ничего общего со строительством не имеющие, — удивленно спросили их.

— Уехать отсюда нам никак нельзя: мы не можем оставить его одного. Часть особого назначения продолжает жить и бороться вместе со своим командиром.

Так объяснили они причину своей странной просьбы.



Владимир Леонович

С Л О В А

Если из песни
хоть слово ты выкинешь,
значит, песня — не песня.
Это — либо песенный выкидыш,
либо песня на пенсии.

Песня
будто сменила платье,
будто она здорова...
И поэту монету платят
за выкинутое слово.
Песню где-то и распевают.
За успех бокал разбивают...
Но вот
во сне,
вот на улице где-то
эти спетые и не спетые
слова

находят

поэта.

Самоотверженные —
отверженные.
Сердцем затверженные —
обезвреженные.
— Понимаешь,
из песни мы вырваны
без

твоего

ведома.

Мы прямые. Мы делу преданы.
Нам тяжело,
будто дело предано...
Мы должны быть реабилитированы!
— Разрешите недоразумение —

там у вас
какая-то мания:
растаскивают
каменья,
предназначенные
в основание...
— Те, на воле,
слова бессловесные,
в меру чистые, в меру честные,
думаешь,

нам
замена?

Эта замена —
как та
измена!
Независимые,
неприкаянные,
неулыбчивые,
твердокаменные —
ждут слова справедливости.
А поэт
разводит руками —
обычный жест
мужской стыдливости.

ГОЛУБИ

Птицы нехищные, города голуби!
Что не летите вы в местности горные?
Или ослабили вы сизыми крыльями,
или овсянкою вас окормили мы?
Или привыкли уж пачкать фасады вы
и не пришлось на себя вам досадовать?
Или смирились вы с жизнью куриною?..
Голуби, голуби, птицы старинные!
Вам бестревожно ль под крышами
спится

в ночь,
как летят
перелетные птицы?
Пусть седина упадет мне на голову —
а не пойму я вас, города голуби!

ПОЭТЫ

От железа и камня,
горячи и тихи,
настоящие парни
приходят в стихи.

И приносят на лицах
очень правильных строк
дорогие приметы
трудов и дорог.

И, в поэзии будучи
вроде как ни при чем,
эти парни
поэзию
подпирают плечом.

Ограждают незримо
ее от беды
своей детскою лирикой
чистой воды.

Но все чаще блокнотики
в долгий ящик кладут.
Дни идут — сплошь в поэзии,
а стихи — не идут!

Постепенно стихи свои
забывают они,
и тогда появляются
чьи-то строчки о них.

Новый стих поднимается,
по-весеннему крут —
замыкается этим
поэтический круг.

И над виршами добрыми
вспоминают они
про свои про медовые
стихотворные дни.

ЯНТАРЬ

Далекie удары грома
ловила, вздрагивая, крона.
Тьма загустела,
подступила
и — расколосась!
Ослепило.
Ударило и расщепило.
Прошло стволom...
Но не сожгло!
Неизлечимо, смертно ныло,
и из расщелины
смола
тяжелым соком проступила

и в первой капле
отразила
все, что могла,
и каплю
каплей
вниз катила...
Катила сосны, берег, блики,
катила волны...

Так встарь
возник янтарь —
из недр и молний,
на дюнах диких.

ЛАЙНЕР И БАБОЧКА

Бабочка летает сто веков.

Бабочке исполнилось

полсуток.

А под самолетом полусумрак,
солнцем отграниченный

с боков.

Лайнер из дюрала голубого
встал на ослепительный бетон.

Лайнер только-только что

от бога:

взмылен он и вместе

хладен он.

— Бабочка из бархата и радуг,
что такое небо?

— Это радость.

Бабочке исполнилось

полсуток

и ее не мучает рассудок.

Лайнер крыльями поводит

косо:

маленькое чудо наяву!

Хочется вобрать ему колеса,
упорхнуть за бабочкой в траву
и начать подробный

и счастливый

тихий межцветочный перелет,
чтоб на крыльях — солнца

переливы,

а не ветер, высота и лед.

ИННОКЕНТИЙ КУДИНОВ

КОРОЧКА ХЛЕБА

БЫЛЬ

Вот она, эта корочка хлеба, маленькая, с наперсток. Давно я ее берегу. Уголки у нее обкрошились, она вся высохла и сморщилась. Но на этой шершавой корочке сохранились следы крови близких мне людей, замученных в фашистском плену.

Пусть ребра помяты,
И враг был жесток.
Я сердце солдата
Отчизне оберег.

Г. ЛЮШНИН.

I

Моя учительская деятельность прервалась вместе с началом Отечественной войны. В эти тревожные дни я, как и многие другие сыны нашей Родины, отказался от брони, отправился на фронт, чтобы с оружием в руках защищать любимую Отчизну.

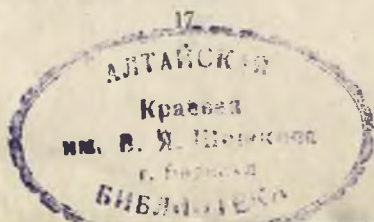
Штурмовая дивизия. Первые бои за Тихвин, затем под Чудово. В составе Волховской группировки мы участвовали в прорыве вражеских укреплений под Мясным бором, в знаменитом рейде по тылам противника, осаждавшего Ленинград.

Далеко вклинившись в тыл врага, наша дивизия оказалась отрезанной от основных сил Волховского фронта. Бои не прекращались ни на час. У нас иссякли запасы продовольствия и боеприпасов, мы несли тяжелые потери.

Особенно ухудшилось наше положение весной 1942 года, когда раскисли знаменитые ленинградские болота. Ведя долгие и упорные бои, дивизия прорывалась из окружения. Точно пранитный таран пробивала она себе путь, то тут, то там разрывая вражеское кольцо. Но кольцо смыкалось снова и снова, а наши силы быстро таяли от непрерывного огня противника, голода, невзгод погоды.

Все же, преодолевая нечеловеческие трудности и лишения, дивизия прорвалась через все препятствия. От основных сил фронта нас отделя-

2 «Алтай» № 4



1003240

7.58.1111

ла небольшая река Полесье, а за ней находившаяся в руках немцев полоска железной и шоссейной дорог.

— Держитесь, товарищи штурмовики. Мы идем к вам на выручку! — по радио нам сообщили из штаба фронта. — Держитесь — поможем!

Возле села Спасская Полесье к нам присоединился небольшой отряд партизан, и мы вместе стали готовиться к бою, чтобы преодолеть последние вражеские укрепления.

Со стороны наших донеслись мощные звуки: «Ура-а-а!» И мы, движимые мыслью прорваться или умереть, бросились на врага. Бой был жестоким. Фашистов надежно укрывали дзоты. Они не только сдерживали двухсторонний натиск, но ураганным огнем заставили нас залечь в бомбовые воронки, разбросанные вдоль реки Полесье.

Враг начал бешеный минометный и артиллерийский обстрел воронок. Кругом все выло, шипело и рвалось.

В опромненной воронке, где укрылся я, собралось человек сорок. Многие уже были ранены и истекали кровью.

На какой-то миг обстрел прекратился.

— Приготовиться к атаке! — скомандовал командир нашей группы.

Где-то гукнул пушечный выстрел, и в нашу сторону, фукая, полетел снаряд, потом второй, третий. Первые два, обдав жаром, прохнувшись за воронкой, подняв на десятки метров черные смерчи прязи, а третий упал прямо в нее. Он рванулся так близко, что мое тело, словно щепку, высоко подбросило взрывной волной. Я потерял сознание. А когда оно вернулось снова, то понял, что свершилось непоправимо страшное: плен!

Так я оказался в фашистской неволе...

Страшна подневольная жизнь. Да это и не жизнь, а ад. И не библейский, сказочный, выдуманный, нет-нет! Настоящий земной ад, со всеми его ужасами и пытками. При первой же возможности я сделал отчаянную попытку бежать из концлагеря, но не удачно. На вторые сутки меня настигли фашисты, нещадно избили и, заковав в цепи, этапом отправили в Германию, в Флиденский лагерь смерти.

— Новичок, новичок прибыл! — встретили меня бледные истощенные обитатели этого лагеря — русские военнопленные офицеры, обреченные на смерть.

Что представлял собой этот лагерь? Он был небольшим, но коварным. Томилось в нем около трехсот советских людей. Немые и мрачные горы окружали его. Весенние воды с гор, летние потоки после проливных дождей со всей стихийной силой обрушивались на лагерь, превращая его небольшую территорию в сплошное вонючее месиво. Зима тоже не миловала: постоянные вьюги, частые снежные обвалы и заносы делали особенно суровым и без того чуждым нам край.

Между гор, в котловине, словно гигантский склеп, вытянулся приплюснутый скалами барак: серый, мрачный, с железной кровлей и чугунными решетками на окнах.

Мучительные страдания и гибель ожидали каждого, кого бросали сюда. Стоны не умолкали ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой.

Барак окружала высокая стена из густопереплетенной колючей проволоки: пять метров в высоту, столько же в глубину. Сотни ловушек умудрились сплести фашисты в этой колючей паутине: начиная от сигнальных приспособлений и кончая проводами высокого напряжения.

Как-то для острастки охранники лагеря решили продемонстрировать свою технику: схватили первого попавшегося пленного и бросили на колючую стену. Несчастный не успел даже выкрикнуть проклятье, как почернел, убитый током.

По углам восточной и западной сторон проволочного заграждения возвышались две сторожевые вышки с пулеметными и прожекторными установками, а на южной стороне, на взгорье, точно орлиное гнездо, возвышалась «вахштубе» — комендантский дом. В нем жили наши мучители-охранники, во главе с начальником лагеря обер-лейтенантом Паулем Шланге. «Большая змея» — так мы прозвали его, безжалостного садиста и палача.

Здесь, в лагере, я и стал свидетелем той страшной истории, о которой мне напоминает корочка хлеба.

II

Эта трагедия началась с посещения лагеря неким власовским агентом, по фамилии Хлюзденко.

Была зима 1944 года. На лагерном дворе сгущались вечерние сумерки. Усталые и голодные, мы только что вернулись с работы. Чуть свет нас угнали на железнодорожную станцию Фульда и под страхом смерти заставляли выкапывать невзорвавшиеся бомбы замедленного действия. Когда мы, продрогшие, прелись около железной печки, в барак вбежал пучеглазый бесноватый вахтер по фамилии фон Брек, необыкновенно длинный, поджарый, с кошачьей головой. По выражению его лица с выпученными глазами, по тому, как он радостно прогорланил: «Русски! Русски! Русски комрад!» — можно было подумать, что к кому-нибудь из нас прикатил в гости отец.

Немецким басням пленные не верили. Но это интригующее слово «русский» все же насторожило нас. Мой сосед по нарам, балагур Федя Сибихов ущипнул меня за руку и промко сказал:

— Не к вам ли папаша? Бегите, встречайте!

Не успел я ему ответить такой же шуткой, как в сопровождении целой своры охранников и коменданта в бараке появился плюгавенький «русски комрад», о котором так широковещательно объявил фон Брек. Шел он вместе с немцами в фашистской униформе, говорил с ними тоже по-немецки. Но по нарукавной, коричневой, в форме тупого меча, эмблеме, с изображением трех русских букв «РОА» нам сразу стало ясно, что это за «комрад».

— Долметчер!

К коменданту подошел барачный староста Артемий Семенович Гольцев, владевший немецким языком.

— Военнопленный Гольцев, — по-немецки обратился комендант, — с вами желает побеседовать русский унтер-офицер, комрад Хлюзденко. Объявите об этом!

Гольцев повернулся лицом к нам. Это высокий, стройный, лет тридцати пяти, майор инженерных войск с простреленными легкими.

— Внимание, товарищи! Сейчас с нами честь имеет говорить унтер-офицер, некий Хлюзденко.

В голосе его явственно прозвучали иронические нотки.

— Я, полковник Советской Армии, не желаю слушать каких-то унтер-офицеров, — раздался зычный бас.

Тут же его поддержали другие.

— А я майор...

— Мы все не желаем слушать унтер-офицера!

В бараке воцарилась напряженная тишина.

— Я из русской освободительной армии, — тихо начал власовский агент, и снова с задних нар услышались насмешливые голоса:

— Что это еще за такая армия объявилась?

— Чье оружие вы взяли и против кого!

Эти колючие вопросы точно бритвой резанули по самолюбию Хлюзденко. Но он, подавив гнев и путаясь, снова заговорил:

— Госпо... товарищи! Не спешите с дерзостями.

Раашник, как мы презрительно звали власовцев, окинул беглым взглядом стены, потолок, трехъярусные нары, массивные решетки окон с разбитыми стеклами, откуда в барак врывался холодный воздух, снял белые перчатки, поднял руку и, решив покорить нас, сказал: «Братья».

— Волк тебе брат! — выкрикнул кто-то из дальнего угла барака.

Не обращая внимания на выкрики, власовец пытался говорить:

— Соотечественники! Я знаю, что вам живется трудно: вы голодны, вас бьют, поэтому вы озлоблены. И я не обижаюсь на выкрики отдельных пленных, сам был...

— Хватит, довольно! — совсем рядом со мной раздался чей-то гневный голос.

— Товарищи, праждане, прошу не перебивать меня. Я не желаю вам плохого, ведь в моих жилах тоже течет русская кровь. Мне жаль вас видеть в таком положении. Разве дело так жить! Не дело, праждане, товарищи... Я уроженец города Николаева. Против Советов весь мир востал, а вы чего ждете? Я вас, спрашиваю: что вы ждете? Могилы, да?

— Умирать нам рано. Мы еще тебя переживем, — под гул одобрения ответил власовцу самый юный наш офицер Федя Сибихов.

— Правильно! Зачем умирать, надо жить, — фашистский агент ухватился за фразу Сибихова, как за спасательный круг. — Вот, к примеру, я тоже был в плену, а теперь вольный казак. А вам кто мешает так жить? Сами себе мешаете, хорошие мои, граждане, товарищи. Да-да, сами! Вступайте к нам в «РОА». — Власовец с умилением посмотрел на эмблему. — Вступайте и вы сохраните себе жизнь, завоюете почет и уважение фюрера и народа русского...

Ему не дали досказать. Поднялся шум.

— Не прогай русский народ!.. Знаем мы ваше коричневое воинство.

— Продажные души! Иуды!

Волнение нарастало и принимало угрожающие формы. Пленные все ближе подступали к Хлюзденко. «Освободитель» попытался к выходу.

— Тише, тише! — останавливали нас немцы, применяя легкие, на этот раз, удары прикладом.

Освистанный власовец под защитой охранников покинул барак. Перешагнув порог, Хлюзденко почувствовал себя в безопасности, остановился и, подняв кулак, огрызнулся:

— Пожалеете!

Федя Сибихов бросил остро и гневно:

— Уже жалеем, господин хороший, что живой от нас уходишь!

— У-у, комиссары!

Вместе с «русским комрадом» уходил из барака не менее озлобленный комендант лагеря.

Так было сорвано выступление предателя.

От «рашника» мы отделались сравнительно легко, но торжествовать было рано. Зная своих мучителей, мы не сомневались, что они постараются отомстить. И действительно, в тот же вечер началась расправа.

Еще не успели поужинать, как в барак ворвался Шланге и десять охранников. Комендант, прозя кулаком, закричал:

— На проверку становись, свиньи!

А когда мы выстроились вдоль барака, он сердито спросил старосту:

— Почему встали в строй без верхней одежды?

— Мы всегда без одежды выстраиваемся, — выражая удивление, спокойно ответил Гольцев.

— Что, что сказал?

Топая ногами, комендант прыжно выругался.

Необычное требование дошло не сразу. Но охранники разъяснили нам. Схватив винтовки, вдруг, точно по команде, начали толкать пленных, изрыгая осточертелые слова: «Вэк, эк! Шнель! Бистро!» Комендант вторил им, подбадривая: «Бистро! Бистро! Бистро!»

Нас снова выстроили, на этот раз с обтрепанной верхней одеждой в руках. Сосчитали. Комендант через переводчика объявил:

— С этого дня на ночь одежду будете класть вот сюда.

И, указав рукой на открытую дверь в кладовую, приказал:

— Бистро!

— Бистро, бистро! — работая прикладами, подхватили вахтеры.

Подгоняемые оружием, мы столпились возле узких дверей кладовой. Каждый непременно получал удар винтовкой, тесаком или кулаком в свинцовой перчатке. Ткнул и меня охранник фон Брек, следивший за складыванием одежды. Я удержался на ногах, помятуя, что «лежащих фашисты добывают» и, держась за нары, побрел в свой блок.

Уходя из барака, комендант приказал охранникам:

— Утром, при раздаче одежды, не церемоньтесь с ними!

Будет исполнено, герр обер-лейтенант.

Легли спать без верхней одежды. В бараке было холодно. Долго не могли уснуть. Бумажные матрацы, превращенные в спальные мешки, плохо грели. Корчась от холода, каждый из нас с благоговением думал об отобранной верхней одежде, рваной, пярзной и жалкой...

III

Утром, как обычно, нас подняли, но не погнали выкапывать бомбы. Вахтеры объявили, что начались рождественские праздники и что сегодня во всех лагерях, по велению фюрера, не работают.

В лагере день начинался с четырех часов утра — с момента побудки. Еще темно, а мы уже на ногах. По инициативе Гольцева в этот свободный день решили провести бытовой субботник.

При свете коптилок принялись за неотложные бытовые дела. Одни мыли и скоблили полы, другие — стриглись и брились, третьи стирали или штопали белье. Только совершенно обессиленные от голода и истязаний товарищи, лежа на нарах и укрывшись тряпьем, то и дело посматривали на дверь. На их лицах можно было прочесть: «Есть хочется, а завтрак почему-то не несут».

— О нас, наверное, забыли вахтеры, — всматриваясь в окно, беспокоились дежурные.

Кто-то в дальнем углу барака стал философствовать:

— Эх, что и говорить, одно слово — ку-ли-нария! Это точно — искусство.

— Да еще какое! — с жаром подхватил сосед по нарам.

— А вы знаете, как песочники печь? — на легу вступил в разговор третий.

И пошла писать губерния. Дискуссия о приготовлении пищи, словно карусель, закрутилась в каждом блоке. Когда желудок пустой, люди пытаются унять тоску по пище разговорами о ней — и напрасно.

Кулинарной говорильней заразился и небольшого роста рыжеволосый паренек Ваня Баев. Он переставил помойное ведро, протер пол мокрой тряпкой и включился:

— Братцы-кролики, слушайте меня! Я сегодня ночью во сне видел, будто нам хлеба прибавили немцы. Может, взаправду, в честь праздника, «Большой змей» расщедрится? Вместо ста граммов по батончику отвалит каждому. Смотрите, мол, какой я добрый! Вот был бы номер!

Наконец, вахтеры вызвали дежурных за завтраком. Принесли три бачка кофе — бачок на блок и тридцать килограммовых батонов — десять на блок.

— А прибавка? — спросил Ваня.

— Жди, прибавят! Когда рак свистнет, — за дежурных ответил Федя Сибихов.

— Свистнет, свистнет, — сердито пробормотал Петрусь Загнибеда

— славный паренек, дежурный от нашего первого блока. — Вот смотри-те, как свистнули, мне по уху свинцовой перчаткой.

И, показав побагровевшее ухо, добавил:

— Я коменданту намекнул о прибавке, а он в ответ: «Что же, ком-рады, прибавлю», — и звезданул, проклятый! До сих пор в голове пер-резвон стоит.

Полученные батоны дежурные блоков разделили на равные дольки, выравнивали их на самодельных весах и приступили к дележке.

В нашем первом блоке этим почетным делом занимались Петрусь Загнибеда и Сашко Коробочка.

Мы столпились около стола, на котором стройными рядами лежали кусочки хлеба. Сашко отвернулся и закрыл глаза полотенцем. Загнибеда показывал на порции и спрашивал: «Кому?» Коробочка называл фамилии.

Каждый незамедлительно забирал свою порцию.

Утренняя трапеза продолжалась недолго. Много ли требуется времени, чтобы проглотить стограммовый кусочек хлеба да выпить кружку мутной тепловатой воды.

Ощущение голода не прошло, наоборот, усилилось. Сашко Коробочка смахнул в ладонь крошки со стола, съел их, спросил товарищей, сидевших еще за столом:

— Ну как завтракается, с аппетитом?

— Аппетит-то есть! — ответил ему Сибихов. — А вот завтрак...

Он взял в рот свою порцию хлеба, причмокнул языком, проглотил:

— Вот и весь завтрак.

Сибихов, Баев и другие дежурные по бараку снова взялись за уборку. Перегоняя воду тряпкой из одного угла в другой, они драили барачный пол. Тем временем Коробочка и Загнибеда скоблили стол.

— Эх, галушек бы! — мечтательно произнес Петрусь.

— Не-не, — мотнул головой Коробочка, — хотя я тоже хохол, но с тобой не соглашусь: сибирские пельмени вкуснее галушек.

— Значит, не едал ты, Петрусь, сибирских пельменей! — не утерпел и вмешался Сибихов.

— Едал, Федя, едал, но галушки получше.

Изгибаясь, на средних нарах полулежа брился острым стеклыш-ком смуглолицый грузин, командир зенитной батареи Георгий Саморкадзе. Скривив лицо и губы, он вытянул шею в сторону спорящих и задал вопрос:

— А приходилось ли вам пить грузинское вино? Вот это напиток! Нальешь, бывало, бокал, искрится, сверкает...

Кто-то ложкой ударил по дну котелка и сразу же со всех сторон загудело, зазвякало, точно в барак невесть откуда ворвался хоровод встревоженных звуков.

В ожидании обеда по бараку уныло бродили голодные люди. Невообразимая скучища... Но вот в дальнем углу затянули:

— Ревела буря, дождь шумел...

Песню подхватил весь барак:

— Во мраке молнии блистали!

Со скрежетом открылась дверь, и в барак ввалился охранник по прозвищу Циклоп-одноглазый. Глаз фашисту вырвала снайперская пуля на Волховском фронте. Около железной печи «буржуйки» он остановился, широко расставив ноги, и вызывающе посмотрел на нас своим уцелевшим глазом. А песня, не знающая границ, продолжала литься из конца в конец барака. И когда в воздухе прозвенели слова: «И ветры в дебрях бушевали», Циклоп размахнулся винтовкой и на ломанном русском языке крикнул:

— Какое имел прафо петы! Фста-ать! Ауф! Ауф!

Мы не встали. Но песня, точно ветка, надломилась и оборвалась на полуслове: «буш...».

— Фста-ать! — еще ожесточеннее крикнул Циклоп. Обутый в тяжелые горные сапоги, он топнул ногой так, что от сотрясения рухнула едва закрепленная труба нашей печки. Падая, она небожно стукнула фашиста по голове. Мы не удержались от смеха. Рассмеялся и немец, но добрее после этого не стал. Пнул ногой поверженную трубу и вдруг заговорил:

— Кароша сибирен песня! — И фальцетом затянул: — «И пес-пе-и-фно кро-ом кре-е-ме-ел, и фе-е-тры ф тепря-ях бош... бош...»

— Бош... бош... — передразнил его кто-то в глубине барака.

Циклоп разъярился. У него затряслось студенистое лицо, толстые губы. Теперь от него легко не отделаться. Поэтому каждый норовил как можно скорее убраться в местечко поукромнее: на нары, под нары, в углы. Но в большой массе людей всегда кто-то отстает и становится жертвой разнузданного охранника.

Со словами «Я фам покажу бош...» фашист схватил винтовку за ствол и ринулся за нами. Он бил каждого, кто ему попадался. Бил, не задумываясь о последствиях, бил со всего плеча, с ожесточением.

Барак наполнился стонами. Одному пленному Циклоп разбил руку. Несколько человек, шатаясь, добрались до нар с окровавленными головами. Мне он сыпанул табак в глаза.

Наконец палач ушел. С улицы долго еще доносилась его злобная брань. Мы знали: раз утром побывал Циклоп — беде не миновать.

О прибавке хлеба, об улучшенной баланде больше никто не думал. А как хотелось хотя бы один раз досыта наесться хлеба или хотя бы картошки. Ведь каждая частица тела изнывала от систематического недоедания и неотступно требовала еды.

Голодный человек рад даже тому черпаку болтушки, которой кормили в лагере. «Зупе» — ласково называли немцы баланду, состоявшую из воды, куколя и лебеды. Но, изголодавшиеся, мы поедали ее как кулинарное чудо.

— Как там, еще не позвали дежурных за баландой, а? — то и дело спрашивали пленные друг друга.

В расщелинах окон завывал ветер. На крыше зловеще хлопал оторванный лист кровли.

Утомившись ждать, мы мало-помалу расходились по своим блокам. Только на столах продолжали стоять аккуратно расставленные миски и ложки. Охранники нас оставили без обеда. Что же, не в первый раз! Бывало и так, что два—три дня не давали пищи.

Но вот чей-то голос:

— Идет, идет!

— Где, кто идет? — подхватили другие голоса.

В нашу сторону снежной целиной шел невысокого роста человек в войлочной голубой шляпе. Ветер дул ему в лицо. Поэтому он одной рукой придерживал шляпу, а другой то и дело тер нос, щеки, уши.

Кто это решился пойти в такую погоду, да еще к пленным? Мы небольшой группой выбежали на лагерный двор и, скрываясь за углом барака, приблизились к проволочному заграждению.

— Да это же дядя Яношик! — радостно воскликнул Сибихов.

— Он, Яношик! — подтвердил Гольцев и озабоченно нахмурил брови. Появление этого человека в такую погоду и после вчерашнего скандала его серьезно обеспокоило.

— Надо предупредить, чтобы немедленно уходил обратно, — с тревогой сказал Гольцев и, забравшись на горный камень-валун, торопливо стал подавать ушанкой условные знаки: «Уходите, опасно, уходите!»

Но Яношик, ослепленный снежным бураном и встречным ветром, по глубокому снегу брел к проволоке.

Кто такой дядя Яношик?

Мы знали его хорошо. Это был уже пожилой, но еще крепкий словак, насильно вывезенный из горной деревни Тярховой. Потомственный рабочий, железнодорожник, он последние годы скрывался от преследований за свои демократические взгляды, но кем-то был выдан и сослан оккупантами в Германию. На станции Флиден он работал мастером по ремонту и восстановлению после бомбежек железнодорожного полотна. По роду своей работы ему часто приходилось встречаться с русскими военнопленными. «Друже, братики!» — ласково называл он нас.

Суровая, во многом схожая судьба, сблизила нас с этим человеком. Мы видели в нем настоящего друга, товарища.

У Яношика были золотые руки. Даже немцы не могли не признать этого, называя его Гросс-мастером. И действительно, он все умел делать: забираясь на горные снеговые кручи, предупреждал обвалы, обуздывал потоки разбушевавшейся вешней воды, умел обезвреживать неразорвавшиеся бомбы замедленного действия.

Охранники знали его, считались с ним, а комендант даже прощал ему «вольности» в обращении с военнопленными. Такое отношение немцев Яношик осторожно использовал в наших интересах.

Вращаясь среди рабочих поляков, югославов, а также общаясь с нами, Яношик, используя некоторое корневое сходство словацкого языка с русским, научился говорить на понятном нам диалекте.

При встречах с нами (больше на раскопках бомб, в воронках) его сизоватые глаза загорались теплым огоньком сочувствия и доброжелательства.

— Как дела, друже, что нового?

— У нас, дядя Яношик, одни новости, — отвечал кто-нибудь, — бьют, калечат, убивают.

Он хмурил лицо, сокрушенно качал головой:

— Тяжко, друже, тяжко. От них всем тяжко: чехам, французам, югославам, русским, всем. Разумите, братики, тяжко!

Однажды после такого разговора в воронке (боясь неожиданного взрыва, немцы охраняли нас с почтительного расстояния) он подошел к Гольцеву и что-то подал, аккуратно завернутое в бумагу. Потом посмотрел в сторону охранника и шепнул: «Прокламация!»

То была листовка, напечатанная на русском и словацком языках. Из нее мы узнали радостную весть о великой победе советских войск на Волге. Эта листовка укрепила нашу веру в окончательную победу над коварным врагом, удесятерила наше сопротивление палачам...

Дядя Яношик не заметил наших тревожных сигналов, а часовые почему-то не задержали его. Он все шел и, наконец, преодолев снежное препятствие, приблизился к проволочному заграждению и спросил, как обычно:

— Как дела пани-братики? Что есть нового?

— Плохи дела у нас, дядя Яношик! Уходите скорее, дорогой, уходите!

У словака лицо посуровело. Он торопливо заговорил:

— Братики, фашистам скоро капут. Новости добжи, добжи, братики! Русские немцев... ну...

И Яношик энергично взмахнул кулаком, показывая, как наши бьют врага. Он хотел сказать еще что-то, но вдруг забеспокоился и, вынув из-под полы поношенного пальто кирпичик хлеба, перебросил его через проволоку к нам. Федя Сибихов поймал хлеб, точно мяч, на лету.

— До свидания, братики! — крикнул нам дядя Яношик и побежал от заграждения.

— Штеен! Штеен! Стой! — послышался окрик часового и почти одновременно прогремел винтовочный выстрел. — Стой, стой, убую! — продолжал кричать охранник, подбегая к словаку с собакой на цепи.

Яношик остановился. Охранник подбежал к нему. Это был молодой, хромоногий, с обрюзгшим лицом немец, бывший баварский пивозаводчик Отто Бриль.

— Что ты тут делаешь, старый черт, а? — заорал он. — Говори, убую!

— Пане войник! Пане!.. Рождество. Пане... русским брот... хлеб... праздник.

Охранник, не дослушав, ткнул его стволом в грудь.

— Разбей тебя гром и молния, старого черта! Уходи пока жив! Бистро! Бистро!

А когда тот повернулся, он прикладом ударил его по голове. Дядя Яношик сделал несколько шагов вперед, пошатнулся и упал на мягкий снег.

— Зензе, ауф! Ну-у! — ослабляя цепь, охранник травил собаку.

Овчарка сделала несколько прыжков и, зарывав, вцепилась в плечо словака. От нестерпимой боли Яношик вскочил на ноги и бросился бежать. Охранник преградил ему путь.

— Ни с места, заколю!

— Пане... Праздник...

Но вахтер снова ударил его прикладом по голове. Несчастный Яношик взмахнул рукой, словно хотел прогнать муху с лица, качнулся и упал. Ползая по снегу, он бормотал:

— Пане, рождество... Разумишь... Пане....

Овчарка что-то медлила. Вахтер властно крикнул на нее, после чего собака тигрицей бросилась на спину дяде Яношику и вцепилась когтями в человеческое тело. А охранник, любуясь тем, как мечется жертва, подбадривал собаку:

— Зензе, ауф, ауф!

Этого мы не могли вынести. Федя Сибихов схватил камень, валявшийся у стены барака:

— Дядю Яношика убивают! Эй, товарищи!..

— Выходите все из барака! — закричал, размахивая деревянной колодкой, Гольцев. — Смотрите, что делают, сволочи!

Пленные бросились к выходу из барака. Потрясая в воздухе палками, кирпичами и колодками, группы людей выбегали на лагерьный двор. Выступив вперед, Федя Сибихов кричал:

— Прекратите мучить человека!

— Пре-кра-ти-те... Пре-кра-ти-те!.. — проскандировали мы.

Вахтер вскинул винтовку к плечу:

— Уходите прочь! Стрелять буду!

— Бей фашиста! — раздался голос Сибихова, и через колючую проволоку в охранника полетел кирпич.

— Бей его, гада! Бей!

Фашист метнулся к запраждению, но в это время на него посыпались колодки, кирпичи, палки. Охранник взвизгнул от боли, прицелился и выстрелил почти в упор. Нас обдало порохом и жаром. Кто-то в нашей толпе промычал и упал, как подкошенный.

— Сибихова убил, Сибихова! — в отчаянии крикнул Гольцев.

Но Федя был еще жив. Пуля угодила ему в прудь. Он хрипел и кашлял. Лицо его исказилось от боли. Вместе с кашлем через продырявленную гимнастерку из пруди пробивалась кровь. Она стекала и плавила снег, оставляя на нем огненные пятна.

— У-у-у! — злобно завывала сирена.

На место происшествия сбежались перепуганные охранники.

— Что случилось, что? Побег? — тяжело дыша, спрашивали они часового.

— Хуже! — мотая головой, оправдывался убийца. — Они бунт подняли... Я их проучил... Цвай капут. — Он жестом победителя показал на Сибихова, лежавшего на окровавленном снегу, и на тело Яношика: — Цвай! — повторил он, подняв два пальца, и тусно рассмеялся.

Овчарка лежала около трупа. Комендант взял за воротник замученного старика и потряс его безжизненное тело. Лицо, руки Яношика были искусаны, вмятая в снег шляпа валялась у ног фашистов.

— Вэк! В барак! Вэк! — вдруг заорал комендант, и в ту же секунду охранники подхватили эти слова, бряцая оружием. Смысл слов «вэк, раус, шнель» мы отлично понимали. Всякий раз под этот дикий крик фашисты дробили челюсти, черепа, ломали ребра, кололи штыком, убивали.

IV

Раненого Сибихова мы занесли в барак и положили на нары среднего яруса, напротив окна, обращенного на восток. Всматриваясь через стекло вдаль, он часто рассказывал о своем родном колхозе, где-то затерявшемся в Алтайских горах, о детских годах. В минуты раздумья он говорил:

— Как-то поживает без меня маманя в колхозе? Ведь я у нее был единственным помощником.

И вот он лежит раненный палачом. Жизнь его может оборваться в любую минуту. Кто поможет ему? Среди нас не было медиков, не было и нужных медикаментов. Но раны лечит не только медицина.

Над Федей наклонился Гольцев, по профессии инженер-электрик. Он и другие товарищи спешили оказать помощь другу. Торопливыми движения рук Гольцев разорвал гимнастерку и оголил окровавленную Федину грудь.

— У кого сохранились бинты, йод, чистые простыни, полотенца? Да побыстрее! Рана серьезная. Потребуется много бинтов, — взволнованно торопил он нас.

— У меня бинт!

— Вот чистая простынь.

А Ваня Баяв, передавая кусок марли, тщательно свернутый, проглатительно сказал:

— Возьмите, Артемий Семенович. Мать дала, когда уходил партизанить, говорила: «Авось пригодится, сынок». Вот и пригодилась.

Мы перевязывали рану Сибихову. Однорукий татарин, командир танкового взвода, коренастый тоболяк Апля Мамеев и комиссар батальона связи, длинный, как жердь, с обезображенным после ранения челюсти лицом Евгений Столбов поддерживали тело больного, а я и Гольцев бинтовали. Артемий Семенович волновался. Рана была сквозная, тяжелая. Он торопил нас:

— Ворочайтесь живее. Вот-вот фашисты нагрянут. Надо успеть. Иначе... Подымайте больного повыше. Вот так, хорошо. Бинты-то наши,

русские, от любой раны хороши. Только не умеем мы перевязывать. Еще подымите, только осторожнее.

Марлей мы окутывали грудь Сибихова, чтобы остановить кровотечение.

Залаяла собака. Это насторожило нас. За проволокой послышались голоса охранников.

— Идут! — предостерегающе крикнул Ваня Баев. — Идут вахтеры! И собаку ведут, палачи!

Артемий Семенович взглянул в окно. Затем поднялся во весь свой могучий рост и сказал, чтобы всем было слышно:

— Вахтеры идут! Вероятно, обыск будет. Возможно, экзекуция! Держитесь тверже, не поддавайтесь на провокации!

Он торопливо сунул мне кирпичик хлеба, этот дар смерти:

— Спрячьте, да понадежнее.

В дверях появились охранники. В последнюю секунду я сунул хлеб в матрац раненого. Словно цепные собаки, многогласно лая, фашисты заполнили проходы между рядами нар. По середине барака в окружении охранников важной походкой шел комендант лагеря, обер-лейтенант Пауль Шланге. Поедая нас своими колючими глазами, приплюсываясь точно ищейка, он метал быстрые взгляды: нет ли где подкопа, запрятанного окружая? Затем надменно спросил по немецки:

— Вас ист лос? Что случилось?

Мы продолжали молча бинтовать простреленную грудь Сибихова.

Расвирипеп, Шланге подскочил к нам и вцепился костлявой рукой в воротник Артемия Семеновича. Гольцев вскочил и, затрясшись от нахлынувшей ярости, произнес негромко, но внятно:

— Вы спрашиваете у нас: «Что случилось?» Ничего! Только то, что вы ежедневно, ежечасно совершаете! Больше ничего!

Комендант, нащупывая рукой кобуру, рывкнул:

— Смотри, как разговорился! Ну, скажи тогда, хамово отродье, что вам передал чех?.. Где хлеб? Отверчай!

Артемий Семенович сразу ответить не мог — нервные спазмы перехватили горло. Наконец, откинув прядь поседевших волос, он сказал:

— Хлеб? Так вы опоздали, мы его уже съели... И заплатили по вашей цене, — он весь дрожа, указал на лужу крови под спиной Сибихова, — или вам этого мало?

Комендант буркнул что-то оскорбительное, потом вдруг выпрямился, вынул пистолет из хрустящей кобуры и процедил сквозь зубы:

— Действуйте, унтер! Не щадить! — закурил сигару и вышел из барака.

— Обыскать! — отрывисто приказал унтер подчиненным и, немного подумав, добавил: — Обыскивать по всем правилам, с прикусом и изломом.

— Яволь, герр унтерцир, — прогорланили вахтеры и приступили к знакомому делу.

Избивая прикладами, стволами винтовок, нас загнали в строй. Прорывавшаяся вдоль строя, унтер выбирал жертву и ударял перчаткой со свинцовым верхом по подбородку.

— Коммунисты! Комиссары! Душу вымотаю! Что передал вам чех? Куда запрятали хлеб?..

Каждая фраза сопровождалась ударом. Бил не только унтер, но и вахтеры. Выслуживаясь перед начальством, они наносили сильные удары.

Пленные держались стойко.

— Ничего не знаем, герр унтер, — стереотипно отвечали мы. Унтер злился все больше и больше.

— Не знаете? Сейчас узнаете!.. Верхнюю одежду сложить в кладовую, — он показал рукой на холодный тамбур, одновременно служивший кладовой, карцером, а при случае и моргом.

Я стоял в строю рядом с Артемием Семеновичем. Он шепнул мне: «Одежду не сдавайте». Я передал соседу. И так пошли эти слова от одного к другому. Но вахтеры силой содрали с нас лоскутное, разношерстное обмундирование с белым крупным клеймом на спине «RK» — начальные буквы от немецких слов «русский военнопленный».

Обыскивая, они заглядывали в каждый рубчик, рвали карманы, выворачивали заплатки, ковырялись в деревянных колодках, ощупывали кожу: на спине, бедрах, икрах ног.

...Позади меня кто-то громко застонал. Я невольно оглянулся. Унтер Грабеман держал в руке ржавые плоскогубцы и что-то непонятно, зло бормотал, а майор Иванов, как мы его в шутку звали «золотозубый летчик», перекосив рот, отхаркивал кровь.

Снова послышался пронзительный вопль: у майора Иванова палач вырывал золотые зубы вместе с челюстью. Еще раз промычал майор и, точно подпиленное огромное дерево, свалился на пол.

Унтер, очевидно, не окончив свою черную работу, склонился к упавшему и, тряся над его носом указательным пальцем, прошипел:

— Убью, большевик!

Зажав обеими руками окровавленный, перекошенный рот, тяжело дыша, Иванов молчал, а унтер плоскогубцами бил его по вспухшим пальцам, приговаривая:

— Открывай, каналья, рот, убью. Открывай, убью!

Со всех сторон раздавались дикие выкрики охранников, сопровождаемые ударами, похрюстыванием костей да обрывистыми, судорожными стонами пострадавших.

...Омерзительный обыск окончен, но самое страшное еще только впереди. А начиналось это страшное каждый раз с того, что всех нас в нижнем белье с «боем» выгоняли из барака. Вот и сегодня, открыв заиндевевшую барачную дверь, унтер скомандовал:

— Паус! Все прочь из барака. Вэк, бистро! Марш!

Многоголосый лай постовых подхватил его слова, охранники стали теснить нас к выходу.

Выйти из барака не то, что из кинозала. Окончился сеанс — выходи себе спокойно в любую дверь. А здесь одна дверь, и та узкая. Ее не ми- нуешь. А выпоняя из барака, как бы соревнуясь между собой в силе и ловкости, эсэсовцы били нас. Ускользая от ударов, каждый моровит по- скорее оказаться за дверью. Но у двери пробка. Здесь стоят два откорм- ленных охранника: один по прозвищу «Сундук», с барсучьим лицом, другой — «Душегуб», с бульдожьей образиной. Они каждому отвещи- вают удары прикладом: кому по ребрам, кому по челюстям или шее.

И вот около трехсот пленных стоят на морозе в одном нижнем белье.

Прямо с гор в лагерный двор на нас дует зимний ветер. Взметая пелену снега, он обжигает руки, лицо, глаза. Ветер прокрадывается под белье, озноб пронизывает все тело.

Стояли долго, невозможно долго — ведь каждая минута каза- лась вечностью. Мы еще не знали, чем окончится затянувшаяся попытка. Но каждый в этот трагический час понимал, что в одиночку не выдер- жать испытания. Только сообща: один за всех и все за одного!

Все кучнее и кучнее сливались мы в единую копошащуюся кучу, усиленно двигаясь, как могли защищались от холодного ветра. Но все это мало помогало сохранять тепло, означавшее для нас сейчас жизнь. Теснее прижимаемся к заветренной барачной стене. Однако и это мало помогало. Ветер доставал нас всюду.

Нестерпимо холодно. Уже кое у кого начинается судорога.

Все теснее жмемся друг к другу, к барачной стене. И стена, скован- ная железом, опущенная снегом, как живая, дрожит вместе с нами не- уемной дрожью. И кажется, не люди, а рой пчел, безжалостно выбро- шенный на стужу, гигантской шапкой скучивается на стене в предсмерт- ной агонии.

Надрывным кашлем оглашается воздух.

— Кхы-кха-кхы!

Смертельно продрогшие люди изводятся кашлем.

— Кха-кхы-кха!

Заводим посиневших товарищей в середину человеческого роя, но это им не помогает. Они хрипят и кашляют, кашляют без конца.

Многие, особенно слабые, истощенные голодом, больные, не могут уже стоять на ногах. Их поддерживают, согревают своими телами те, кто еще может держаться.

Страшный час пытки...

V

Из-за складки горы показался паровоз с несколькими пассажир- скими вагонами. Паровоз сипло прогудел, и поезд остановился около ба- рака.

— Что еще за чертовщина? — всматриваясь через проволоку, с бес- покойством заговорил танкист Апля Мамеев.

Беспокойство овладело и другими.

— Почему он остановился?

— Может, авария какая на станции?

А когда из купированных вагонов стали выбегать мужчины и женщины, главным образом, военные, кто-то крикнул:

— Жандармы!

Немцы в мышинового цвета шинелях группами подходили к проводочному заграждению поглазеть на нас, околевающих на морозе русских военнопленных. Часовой, специально назначенный на случай экзекуции, разрешил им подойти ближе обычного, то есть в зону запретной полосы.

Среди военных выделялись трое: длинноногий, осанистый генерал, в изящной, плотно облегающей сутуловатый стан шинели, приземистый, откормленный эсэсовский офицер и тот самый власовский агент, которого мы вчера выпроводили из барака. Позади них, принюхиваясь, нетерпеливо перебирала лапами большая серая собака.

Генерал сразу повернул к комендантскому дому, а офицер-эсэсовец, издевательски рассматривая нас через проволоку, вдруг заговорил на ломаном русском языке:

— Ну как, русски, наша погодка вам нравится, а? Кароша? Почьему гимнастик не займаетесь, а? Как у вас коворят: в сторовом теле сторовый тух. Не так ли, господа комиссары!

Немцы захохотали.

— Мы тоже умеем смеяться, — крикнул кто-то из нашей толпы, не выдержав фашистской издевки. — У нас еще и так говорят: хорошо смеется тот, кто смеется последним.

По жесту офицера фашисты выхватили из кобур револьверы и с криками: «Капут, капут, русски!» открыли в воздух стрельбу.

И тут, неожиданно для всех, вперед выскочил военнопленный Ерохин. Трясаясь всем телом, он истерически закричал:

— Братцы, конец нам подходит, а за что? У кого хлеб? Отдайте его немцам и пытать они нас больше не будут. Иначе пропадем здесь, у этой стены!

— Верните хлеб! — слышались из толпы панические подголоски. — Не губите нас всех!

Были секунды, когда мне казалось, что паника вот-вот овладеет этим, всем погибавшим на морозе, человеческим роєм.

Но вот заговорил Артемий Семенович, как всегда негромко:

— Успокойтесь, товарищи, успокойтесь! Эти людоеды как раз за тем и пришли, чтобы морально добить нас. И не думайте, что они сжалятся над нами. Нет! Выкажем слабость, издевательствам конца не будет. И если уж суждено умереть у этой стены, так лучше умрем стоя, с гордо поднятой головой, чем ползая перед ними на коленях.

— Бах-бах-бах!

Фашисты снова подняли стрельбу выше наших голов по барачной стене.

На выстрелы из комендантского дома и барака в лагерный двор прибежали охранники во главе с комендантом. Сюда же поспешил и генерал.

— Господа! Что случилось? — строго спросил генерал.

— Репетиция, господин генерал, — усмехаясь ответил молоденький жандармский офицер. — Перед тем, как покончить с этими негодьями, мы пристрелку маленькую сделали.

Генерал, поудобнее примостившись на завьюженном холмике — могиле замученных наших товарищей, надел на нос пенсне в золотой оправе и тяжелым взглядом стал рассматривать нас.

— Братцы, чего ждем? — снова завопил Ерохин. — Отдайте им хлеб.

Столбов дернул его за руку, показал костлявый кулак:

— Заткни хайло!

Горбясь, Ерохин притих.

Подняв руку в нашу сторону, комендант крикнул:

— Внимание!

Мы насторожились, а комендант, шагнув к генералу, подобострастно улыбнулся ему и сказал: «Можно начинать!».

Но генерал сначала пальцем поманил власовца. Тот вспорхнул, точно букашка, выслушал, что шепнул ему генерал, а затем заговорил:

— Люди русского отечества! Вам выпала большая честь говорить с военным деятелем великой Германской империи, генералом фон Манштейном... Во всей этой трагической истории виноваты вы сами. Я вас понимаю. Вы беззащитны. Поэтому наша армия освобождения берет вас под свою защиту. Вчера вы не пожелали говорить со мной. Да, я по званию ниже вас. Сегодня с вами будет говорить высокочтимый генерал. Он просит вашего внимания.

Генерал поднялся на могильный холмик, старательно притоптал снег. Затем поправил пенсне на носу и обратился к нам на неприятном ломаном русском языке с примесью немецкого:

— Я много воевал. Воевал и на русской земле, потому знаю русских солдат. Это... тапфер... как это?.. храбрый солдат.

Генерал платком протер пенсне и, изучающе посмотрев на нас, околевающих на морозе, продолжал:

— Вчера вот этот комрад, — белой перчаткой он ткнул в сторону власовца, — хотел с вами говорить, но вы прогнали его. Это верно?.. Молчите! Значит, правда! Кто там головой крутит, а? Значит, среди вас есть комиссары, коммунисты?

Я невольно взглянул на Ерохина и подумал: «Вот сейчас выйдет из толпы и выдаст». Но он не вышел. Предусмотрительные Мамеев и Столбов крепко держали его и не давали открыть рта.

— Молчите? Варум? Почему? — властно повторил свой вопрос генерал.

По толпе пронесся многоголосый кашель и хрип:

— Прекратите нас мучить на морозе!

Генерал с хитринкой посмотрел на коменданта, на власовца, недолго повел плечами, мол, это же от вас самих зависит — и снова заговорил:

— Я хочу знать, почему вы такие... как это?.. Упрямые. Почему не желаете вступить в русскую армию?

Он ткнул перчаткой в нарукавный знак власовца.

— Вы говорите, что знаете русских солдат, господин генерал, — раздался вдруг ясный и отчетливый голос из толпы. — Так почему же вы считаете нас подлецами?

У генерала фон Манштейна передернулось желчное лицо.

— Хорошо, очень хорошо! Это мне даже нравится. Гут! Нам нужно много солдат в русскую армию. Вы не хотите идти в нее — уйдете в мертвецы. Жизнь в плену — коварная вещьца. Тут всегда стоишь одной ногой в могиле. Оступился — бух — и капут. Но можно обойти могилу. Это от вас зависит. Только от вас!

— Песню! Песню! — шепотом донеслось из угла, где стоял Артемий Семенович.

Дружный гул одобрения пролетел по толпе. Человеческий рой, охваченный властным внутренним порывом, вдруг оживился, вздохнул и запел:

— «Вставай, прокляльем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов».

Сначала робко и сипло, вполголоса, но дальше все сильнее, увереннее, и вот уже песня полилась широким потоком:

«Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов».

Немцы не ожидали такого оборота и некоторое время стояли в оцепенении. А песня дилась и где-то за лагерем откликалась далеким эхом. Мне тогда казалось, что этот гимн освобождения трудящихся вместе с нами поют и наши захороненные товарищи, которые лежали под землей с простреленными черепами, вырванными челюстями и языками.

— Что за комедия, обер-лейтенант Шланге, а? — яростно крикнул генерал, потрясая в воздухе кулаками. — Это же бунт! Открытый бунт!.. Именем фюрера, спрашиваю, вы офицер великой Германии или гувернантка светского семейства, а? Как вы могли допустить в доверенном вам лагере подобное неповиновение пленных, а? Как?

— Я с ними не церемонюсь, господин генерал, — оправдываясь, бормотал комендант.

Он еще хотел что-то сказать, но генерал отвергающе махнул рукой и приказал:

— Разобщите пленных и постройте в четыре шеренги!

Вахтеры стали загонять нас в строй. К словам гимна, пение которого не прекращалось, присоединились дикие выкрики вахтеров, стоны.

Перепуганный комендант, решив загладить вину перед высшим начальством, приказал:

— Ложитесь на животы!

Этот прием охранники называли «проветриванием голов на мертвом плацу». Мы легли, но и лежа продолжали петь.

— Прекратите петь или прикончим вас всех, — заорал комендант, и, показывая пример, первый в упор выстрелил в пленного, лежавшего поблизости...

Когда нас подняли с «мертвого плаца», десять товарищей с простреленными черепами еще дергались в предсмертной агонии. Мы уже не пели. Мы мычали сквозь закрытые рты. Трудно было разобрать мотив и вообще понять, поем мы или стонем.

Но генерал понял. Он развел руками, посмотрел на часы, что-то буркнул коменданту, показав на трупы, и, не посмотрев на нас, торопливыми шагами направился к поезду. За ним вприпрыжку побежал власовский агент Хлюзденко.

VI

Долго продержали нас на морозе.

Многие товарищи обморозили руки и ноги. Они с помощью других с трудом добрались до двери и вошли в барак. Жалкое зрелище представило перед нашими глазами: точно ураган посетил наше невеселое жилище. Трехъярусные нары, самодельные столы, скамейки, чурбаны, доски из нар, все это немудрящее хозяйство громоздилось на середине барака. Засыпанное соломенной трухой из распотрошенных бумажных матрацев.

Над раненым Сибиховым висели какие-то вонючие половые тряпки, помойное ведро и грязная швабра. Засыпанный соломой, он лежал недвижимо. Только на груди из-под бинта пробивалась алая кровь. И это говорило, что он еще жив.

Артемий Семенович отдал необходимые распоряжения о восстановлении порядка в бараке, о помощи сильно пострадавшим. Дежурные по его указанию взяли за печь. Они установили ее и разожгли брикеты. Но поставленная наспех и не промазанная глиной печь не грела, а только чадила едким дымом.

Свинцовое небо, тяжелое и морозное, низко нависало над бараком. За колючей проволокой скалистые горы, комендантский дом, сторожевые будки, железнодорожное депо в развилке двух путей сливались в сплошную серую массу.

Гонг, установленный на центральной сторожевой будке, пробил десять раз.

В бараке было темно. Только в одном уголке нашего первого блока на чурбане, около изголовья Сибихова, тускло горел жировик.

Мне не спалось. Сколько событий произошло за последние сутки. Пытаюсь продумать их, сделать выводы, но мысли почти не задерживаются в уставшей голове, приходят и уходят.

Рядом со мной лежит Сибихов. Прислушиваюсь к дыханию раненого. Голова его приподнята на соломенной подушке, руки разбросаны по сторонам. Рот открыт, тяжелое дыхание. Дрожащий свет жировика падает на согнувшуюся фигуру Артемия Семеновича. Он сидит возле раненого. Вид у него усталый и болезненный. По другую сторону, согнув головы, стоят монгололицый Апля Мамеев и длинный, как телеграфный столб, связист Евгений Столбов. Они своим дыханием согревают уже холодеющие ноги и руки обескровленного товарища.

— Ну и ночь! — вдруг задумчиво заговорил Столбов.

— Да-а, — полусшепотом отозвался Мамеев. — Это только один день и одна ночь! А сколько еще осталось пережить.

— О-о, — простонал Сибихов и, взмахнув руками, попытался приподняться на локтях. — Собаки, собаки! — выкрикнул он, и лицо его мученически перекосилось. — Ой-ой, бешеные собаки...

— Догорает, — Артемий Семенович приложил руку ко лбу Сибихова. — Чем помочь, бедняге?

На верхних нарах над Сибиховым лежал Ваня Баев. Его молодой организм не выдержал сегодняшней пытки. Он простыл на морозе. Ему перехватило горло и точно железным обручем сковало в груди. Во второй половине ночи он притих и, как нам показалось, ему стало лучше. Но вдруг он сильно закашлял и заговорил во сне:

— Обо мне не беспокойтесь. Я же взрослый, не пропаду... Нет, нет, нас много в лесу. Не беспокойтесь, ничего.

И снова закашлялся, забился на голых досках нарах. В припадке кашля он разбил себе нос, поранил голову, руки.

Со всех концов барака до нашего слуха доносился бессвязный разговор, обрывки фраз, отдельные слова:

— Ой-ей-ей!.. Горят ноженьки... Кто спутал их, кто?! Распутайте же! Цепи сбросьте с ног!..

Многие товарищи заболели в эту ночь. Пленные ворочались на своих местах, чихали, мучительно кашляли. Они не могли нигде найти себе места. То ползали по промозглому полу, то садились на труху соломы, то пытались, согревая руками, унять боль в обмороженных ногах. Кто-то подымался, потом садился, начинал заворачивать ноги в тряпки, обувал их в деревянные колодки, стучал колодками о пол, снова подымался на ноги, снова садился.

В щели барака, воя, пробирался холодный ветер. Мерзли руки и ноги. Я беспокойно зашевелился.

— Ноги-то как, сильно обморозил? — повернувшись ко мне, участливо спросил Артемий Семенович.

— Терпимо. Только вот в пояснице точно кошки скребут. Контузия сказывается.

В эту ночь наш барак напоминал тюремную палату тяжелобольных. Только лечить было некому.

VII

У связиста Столбова разболелись зубы, начиналось воспаление надкостницы раненой челюсти. Поднялась температура, и он никак не мог заснуть. В полночь ему было поручено собрать кого можно из коммунистов, чтобы срочно обсудить вопрос о создавшемся положении.

В нашем блоке десятка полтора коммунистов тайно существовавшей в лагере парторганизации собрались на это важное совещание.

В бараке было темно, хоть глаз коли. Только слабые лучи жировика, мерцавшего в изголовье Сибихова, бросали бледные отсветы на угол нар, где мы, кто как мог, разместились у лежанки узбека Урзаева и калмыка Чукмасова. Они оба обморозили ноги, поэтому лежали в одном гнезде и тихонько стонали.

Артемий Семенович хрипловато начал:

— Вопрос первый: как бороться дальше? Вопрос второй: что делать с Ерохиным?

И, посмотрев на меня, сказал:

— Давайте!

Все притихли. Откуда-то из дальнего угла до наших ушей доносилось протяжное душераздирающее причитание.

— На всех фронтах немцы терпят поражение за поражением, — начал я. — Наша армия громит их полчища повсюду: на Карпатах и за Вислой. Нашу любимую Родину уже не топчут фашистские сапоги. Румыния освобождена. Значительная часть территории Польши — тоже. На Балканах, в долинах и горах Албании, Франции и Италии все ярче разгорается пламя партизанской войны. Победа теперь уже не за горами... Но что касается нас, то надо помнить: раненый хищник лютует. В любой момент фашисты могут нас прикончить. И в то же время они еще будут пытаться поправить свои провалы на фронтах руками русских военнопленных. Не случайно они вдруг пустились с нами в эту кровавую игру. Сначала терзают нас, доводят до отчаяния, на грань могилы, а затем предлагают стать предателями, вступить в «РОА».

— Кто пойдет в эту банду! — прервал меня негодующий голос.

— Найдутся! Вроде Ерохина! — Кошкин сплюнул. — Таким лишь бы брюхо набить.

— Этого мы не должны допустить любой ценой, — Артемий Семенович пристукнул кулаком по нарам. — Мы сейчас на фронте, пусть в лагере, пусть за колючей проволокой, но все равно на фронте. И предательство будем наказывать так, как на фронте.

— Правильно, Артемий Семенович, правильно! — слышались голоса.

Наше совещание напоминало собрание перед боем. Коммунисты

говорили коротко. Связист Евгений Столбов, с трудом раскрывая изуродованный рот, предложил активизировать наши удары.

— Какие удары мы можем наносить врагу, вооруженному до зубов? — усомнился Чукмасов.

— А стойкость, а организованность — не удары?

— Еще какие! — поддержал Столбова Мамеев.

— Вот именно! — подхватил Артемий Семенович. — Разве вчера фашисты не потерпели поражение, когда освистанный нами власовец утекал из барака во-свояси? Потерпели! А сегодняшнее поведение пленных на «мертвом плацу» разве не является поражением врага? Является! Нет, наша сплоченность и стойкость — это удары посильнее их пыток!

Артемий Семенович приподнялся, осмотрелся, потом сделал знак, чтобы мы подсели ближе к нему.

— Товарищи! Обстановка накалена до предела. Фашисты решили любой ценой заставить нас воевать против своих братьев. Перед нами два пути: первый — предательство, второй — борьба не на жизнь, а на смерть. Мы встали на второй путь. Гестаповцы знают об этом и готовятся, чтобы с нами покончить. Первую репетицию они проделали сегодня.

— Какой выход? — нетерпеливо спросил кто-то.

— Выход один. опередить палачей. Подготовить восстание и...

И Артемий Семенович кратко изложил план проведения восстания..

В каждом блоке создается группа нападения. Оперативное руководство подготовкой к восстанию возлагается на штаб из шести человек. Наш арсенал: при самым тщательным образом спрятанных пистолета, наган, пять гранат и десять финок... Лучшим временем для выступления будет одна из вечерних поверок. Группа нападения обезоружит охранников. Переодевшись в их форму, обманут часового около центральных ворот и нападут на сторожевые вышки... Борьба будет отчаянной, многие, быть может даже все, погибнут. Но иначе нельзя...

— Кто за подготовку и проведение восстания? — тихо, но многозначительно спросил Артемий Семенович.

И каждый, точно клятву, произносил короткую фразу:

— Я за подготовку — Мамеев!

— За восстание — Столбов!

— И я — Урзаев!

— Я тоже — Чукмасов.

— Все?

— Так точно!

— Кого в штаб изберем?..

Назвали шесть фамилий. Этой шестерке было поручено разработать план восстания, обдумать дальнейшие действия в случае успеха.

— Теперь мы должны решить вопрос об Ерохине, — предложил я и кратко охарактеризовал его предательское поведение.

К Ерохину мы присматривались давно. Этот скрытный тип в спо-

ры никогда не вмешивался, держался бирюком. В член он попал при загадочных обстоятельствах, причем с клубным баяном... Немцам понравился этот баян, и во время очередного обыска они отобрали его. Фашисты полезли во внутрь баяна, а там клад: пятьдесят пачек со историческими советскими ассигнациями.

Ерохин изменил нам, стало быть и Родине, но, может быть, его еще не поздно образумить — в такой плоскости встал вопрос об этом человеке. Мнение коммунистов раздвоилось. Одни предлагали, пока не поздно, обезвредить его, другие возражали, мотивируя тем, что надо попытаться исправить.

— Нельзя ждать! — гневно доказывал Апля Мамеев. — Иначе он нас руками немцев уничтожит.

Калмык Чукмасов нахмурил брови:

— Ай-яй-яй! Какая у тебя, Апля, горячая голова! Уничтожить человека не надо много ума. Фашисты нас убивают, а теперь еще и мы начнем своих в распыл пускать!

— А если он предатель, что прикажете делать с ним? — не унимался Апля...

Жизнь Ерохина была поставлена на чашу весов. Ждали, когда Артемий Семенович выскажет свое мнение, а он молчал. Ерохин уже посягнул на его жизнь своим трусливым поведением, принес большой вред общему делу. И тем не менее... Гольцев не решался поставить точку. Если Чукмасов прав и Ерохина еще не поздно вытянуть из пропасти, в которую он лезет...

Невдалеке от нас что-то зашуршало и рухнуло на пол. Столбов и Кошкин метнулись туда. Что-то хряснуло, забарахталось. Столбов и Кошкин кого-то насильно волокли в наш блок.

— Вот он, полюбуйте! — тяжело дыша и подталкивая ближе к нам Ерохина, с презрением и гневом сказал Кошкин.

— Что ты тут делал, а? Подслушивал, собака? — в упор спросил Ерохина Гольцев. — Отвечай!

У Ерохина затряслись губы. Он вдруг рухнул на колени и залепетал:

— Братцы, пощадите! Жить я хочу! Жить! Пощадите!..

На его плоском носу выступили бусинки пота.

Артемий Семенович отвернулся. Ерохин сам вынес себе приговор.

VIII

Глубокой ночью меня и Гольцева растолкал Зубов. От волнения он не мог произнести ни одного связного слова.

— Да говори толком, что случилось? — добивался Гольцев. — Охранники идут?

— Нет, нет. Он... С ним что-то...

— С кем?

— С Андреем Савельевичем Пахомовым.

С большим трудом мы нашли Андрея Савельевича. Он лежал среди обмороженных товарищей, под обеденным столом, недалеко от печки Гольцев осветил ему лицо вспыхнувшей спички. Скорчившись, Пахомов лежал на боку и жевал прязную мешковину.

— Что с тобой, Андрюша? — склонившись на колени, спросил Гольцев.

Пахомов закрыл глаза и еще энергичнее стал набивать рот мешковиной.

До войны Андрей Савельевич Пахомов работал председателем крупного колхоза в Удмуртии. Участник гражданской войны, старый член партии. На фронт пошел добровольно. «У меня еще меток глаз, без промаха буду бить фашистов!» — заявил он в военкомате, когда его забраковали по здоровью. И воевал он неплохо, командовал ротой саперов-понтонников на Волховском фронте. Сколько переправ построили его саперы, сколько вражеских дзотов взорвали!

Выходя из окружения, Андрей Савельевич был ранен и летом 1942 года попал в плен. Мы все его уважали за душевный характер, за умный взгляд и кроткую улыбку.

По его костлявой фигуре, морщинистому лицу с большой посеребренной бородой можно было подумать, что он уже перемахнул на седьмой десяток. А на самом деле ему шел только сорок шестой год!

Когда-то, в празднике, Савельич был большим шутником. Он даже в плену не утратил этого замечательного качества. Где появлялся он, там начинались едкие насмешки по адресу охранников, фашистов. Как-то немцы принесли в барак власовскую газетенку. Андрей Савельевич подержал ее в руках, как бы прикидывая, чего она стоит, потом понюхал и, поморщившись, во всеуслышание сказал:

— Клозетные новости!

Так меткое прозвище и пристало к этой желчной газетке, обливавшей прязью Советский Союз.

Здоровье у него было слабое: отошал, обессилел. Раненые ноги болели, ходить не мог, а характер имел прямой и упрямый. Как и всех нас, смертников, немцы заставляли его работать, а он отказывался напрямик. Ополит, бывало, свою впалую прудь и немцам заявляет: «Сил нету, не могу... Хотите убейте, не могу!» За это его охранники часто били смертным боем. Однажды ему пробili голову прикладом, и он тяжело заболел эпилепсией. Припадки повторялись почти каждый день.

Сегодняшняя пытка его окончательно доконала. Отморозив ноги и руки, он с помощью товарищей добрался до стола и завалился под него, в сенную труху. Здесь мы его и нашли.

Савельич все еще жевал мешковину. Гольцев молча стоял перед ним на коленях. О чем он думал? Мне показалось, что я увидел на его глазах слезы. Горячая струя прокатилась в моем сердце, но я совладал с ней.

Андрей Савельевич вдруг вскочил на ноги и завопил диким голо-

— Вот они, вот! Бейте же их!

Я попытался успокоить его, да где там! Андрей Савельевич забрался на барачный обеденный стол, стал кричать страшные, бранные слова и бить поленом по чугунным решеткам окна.

— Где вы там, изверги! — изрыгал он брань в окно. — Добейте меня, проклятые!

Столбов, Мамеев и Кошкин прибежали мне на помощь. Подойти к нему близко было опасно, он мог убить поленом. А сбросить его со стола и связать — жалко.

Пленные проснулись, забормотали, задвигались на скрипучих деревянных нарах. Кто-то крикнул удивленно:

— Товарищи, Ерохин околел!

— Туда ему и дорога! — задыхаясь от удушья, отозвался простуженный голос.

За баракom слышались голоса вахтеров. Андрей Савельевич все еще колотил по решеткам и кричал:

— Добейте меня, проклятые фашисты!

— Бах-бах! — раздались два одиночных выстрела и тут же по крыше реzanула автоматная очередь. Потом вторая, третья. Пули дзинькали где-то над головами, чуть выше третьего яруса наших нар.

Кто-то кубарем свалился с верхних нар, крича:

— Ложись на пол!

Быстрелы смолкли так же внезапно, как и начались. Но Савельич по-прежнему колотил поленом по решеткам, и автоматные очереди затрещали снова. На верхних нарах раздались стоны.

Стрельба прекратилась. Где-то у входных ворот между собой встревоженно говорили охранники. Они шли в барак.

— Быстро по койкам! — скомандовал Артемий Семенович и потушил жировик.

Вахтеры медленно, очевидно с опаской, подходили к барачной двери. Наконец, со скрипом открылась промерзшая за ночь барачная дверь и тут же, точно кинжалы, лучики света пронзили барачную темноту. Освещая себе путь фонариками, в барак вошли пять охранников и унтер-офицер Грабеман. Держа автоматы на изготовке, они осторожно расходились по блокам барака. А Савельич продолжал тромить решетки окна.

— Ко мне! Здесь он! — черкнув лучом по бараку, вдруг крикнул унтер, подзывая охранников.

Три лучика, описав кривую, сомкнулись и осветили обезображенное недугом лицо бедняги Пахомова.

— О, мой любимый человек! — ириво обратился к больному унтер. — Что ты тут делаешь, борода?

— Добейте, изверги!

Унтер дал автоматную очередь, в воздух, но это не подействовало на Андрея Савельевича. Он еще свирепее начал наносить удары по чугунным решеткам.

— Каналья! — прорычал унтер и рывком опрокинул на бок стол.

Бедняга рухнул на пол с зажатым поленом в руке, и тут же его стал бить сильный припадок.

Брезгливо искажив лица, немцы отшатнулись от него и осветили изгибающееся, бьющееся тело больного.

Наконец припадок окончился. Распластав руки и ноги, Савельич неподвижно лежал на спине.

Вахтеры во главе с унтером занялись проверкой. Но считать пленных было трудно: многие лежали на полу, заболевшие спрудились около железной печки.

— Хир... Хир... Хир! — тыча в лица лучи фонарей, считали нас немцы.

Потом они снова подошли к Андрею Савельевичу и осветили его тело. Унтер схватил его за бороду и что-то шепнул рыжеусому вахтеру. Тот ухмыльнулся и вышел из барака.

— Что-то затевают, собаки, — прошептал мне Кошкин, внимательно следивший за действиями врагов.

Вскоре охранник вернулся с ведром, набитым снегом. Унтер рукой дал знак, и фонарики осветили голую грудь Андрея Савельевича. Рыжеусый охранник приподнял ведро и опрокинул весь снег на тело больного. Пахомов приподнялся, но тут же упал и стал извиваться как на раскаленной жаровне.

— Гут, гут! — издевались фашисты, а рыжеусый палач добавил по-русски:

— Терпай, козьяк, атаманом будишь...

Савельича снова ударил сильнейший припадок. Уходя из барака, под общий смех вахтеров, унтер сказал:

— К утру выздоровеет.

IX

Во время бандитского налета охранников троих убили, двоих ранили. Мы перевязали им раны — к счастью, они были нетяжелыми.

Сибихову снова стало плохо. Мы подошли к его постели. У него начались тяжелые приступы удушья. Кровь накапливалась в простреленных легких, затрудняла дыхание, и он от этого кашлял до посинения. Увидев нас около себя, он хотел что-то сказать, но только беззвучно шевелил губами. Неумолимая смерть уже коснулась его еще совсем юного лица.

Проститься с Сибиховым подошли все. Полукольцом мы выстроились около умирающего товарища, склонив головы.

В бараке воцарилась тишина. Такая тягостная, раздражающая душу тишина всегда охватывала людей в страшную минуту смерти близкого человека.

Артемий Семенович холодной рукой коснулся лба раненого. Сибихов медленно поднял опухшие веки. В его черных глазах еще теплилась жизнь. Он прошептал едва слышно:

— Хлеб!

И снова закрыл глаза.

Достав кирпичик хлеба из матраца раненого, я сказал:

— Вот он, Федя!

Сибихов снова открыл глаза и прикоснулся к булке уже холодными, бесчувственными пальцами.

— Вот она... Два... года... думал... о кусочке... хлеба... Как хотелось... хоть один раз досыта... На минуту забыть голод... И вот... лежит.

Кровь заклокотала в его горле. Лицо исказилось, глаза помутнели.

— Раз-де-ли-те... Всем... Всем...

Это были его последние слова...

Мы долго стояли в скорбном молчании. Налетевший с горных вершин ветер стучал в окованную льдом стену барака и со свистом вривался к нам через оконные щели.

Едва держась на ногах, я ощупью нашел пустое место на нарах и, точно от сильного удара, свалился на солому. Сердце мое рвалось на куски, спазма перехватывала горло. Холодные слезы текли по лицу, увлажняя рот, зубы.

Артемий Семенович взял в руки хлеб и, сдерживая рыдания, заговорил:

— Товарищи! Уже не первого близкого человека фашисты вырывают из наших рядов. Но гибель Сибихова особенно трагична. Она связана с этим кирпичиком хлеба. Дорого он нам обошелся. На нем сгустки запекшейся крови дяди Яношика, крови Феди и других товарищей...

Он взял маленький нож, выточенный из обломка ржавой стальной линейки, и стал резать хлеб на мелкие кусочки. Потом выпрямился:

— Берите, товарищи! Берите все! Берите и помните!

Артемий Семенович первый взял корочку хлеба и завернул ее в платок.

В траурном молчании подходили пленные и брали этот дар смерти — кусочек хлеба. Потом каждый его бережно завязывал в тряпицу или заворачивал в бумагу и с поникшей головой уходил в свой блок.

Я тоже получил маленькую корочку хлеба и направился к своей лежке на нарах. Из-за тамбура навстречу мне вынырнул совершенно голый, обмазанный грязью человек. Он не шел, а полз на четвереньках к мертвому Сибихову и истерически хохотал:

— Ха-ха-ха! Где тут делят хлеб? Где? Зажилили мою пайку, ха-ха-ха! Хлеба мне! Хлеба!

В эту страшную ночь Андрей Савельевич Пахомов сошел с ума...

Вот она передо мной, эта корочка хлеба, маленькая, с наперсток. Уголки у нее обкрошились, она вся высохла и сморщилась.

Давно я ее берегу. И буду беречь.

Всю жизнь!

В. КАЗАКОВ

ПТИЦЫ

Ветра свист, да волны перепляс,
брызг осевших соленая накипь...
Шли мы в море, имея приказ,
«сдать стрельбу» в отведенном квадрате.
В синеве растворилась земля,
отстонала последняя чайка...
Вдруг на бак к нам, едва шевелясь,
птиц присела усталая стайка.
И кругом оглядевшись с тоской,
прижимаясь поближе к орудьям,
бормоча о своем меж собой,
птицы ждали, что сделают люди.
Было нам не до них в этот час;
пахло море нешуточным штормом,
но разгладив морщинки у глаз,
командир приказал: — Выдать корма!..
Волны с ревом рвались в высоту,
бак покрыла соленая накипь,
шли мы с птицами на борту,
На стрельбу в отведенном квадрате.

г. Севастополь

М. Черток

ИЗ ОТПУСКА

Рассказ

Слесарь Яшка Рыбин ехал в поезде уже третий час. Вагон общий. Яшка успел везде побывать, поговорить с пассажирами, поиграть в домино, а до Барнаула были еще целые сутки пути. На его месте кто-то теперь сидел, сам он переменял уже, наверное, седьмое и сейчас слушал озабоченного плотника, который спешил к дочери за триста километров строить сарай.

На станции, прощаясь с матерью, которая совала пироги в чемодан, где лежали конспекты лекций по физике и рубашки, он думал о том, что в вагоне, среди людей, сразу забудется этот долгий отпуск, когда мать с утра до вечера донимала его своими заботами.

Яшка любил слушать людей, расставив длинные ноги, склонив голову к правому плечу и глядя на человека словно издалека. Казалось, он размышляет о чем-то значительном.

В отпуске он тосковал по ребятам, по клубу, особенно вечерами, когда солнце, багровея, сползало блином за холм, и взбегавшая по холму дорога на станцию упиралась в тускнеющее светило. По утрам он просто злился: в это время в Барнауле уже начиналась его смена...

Плотник напротив кончил рассказывать про черный дуб, покряхтел, смахнул пушинку с праздничного пиджака. Его дубленое, в морщинах, лицо покраснело. Он попросил подмогнуть с вещичками, у него три мешка.

Яшка встрепенулся и кивнул, потягиваясь; в плечах хрустнуло.

Плотника на подустанке встречали. Яшка спрыгнул с чемоданищем на насыпь, отнес его к лошади. Та поворотила серую морду. Он осторожно положил чемодан в телегу.

Вагоны дернулись. Двое пассажиров закричали из окон, что он останетя. Поезд начал набирать ход. Яшка неторопливо шел рядом с обгонявшим его вагоном. Потом подтянулся на поручнях, постоял в тамбуре.

Насвистывая что-то, помахая руками, которые после отпуска ста-

ли глаже, он заходил по вагону, как по квартире. К нему стали обращаться с вопросами пассажиры: вовремя ли будет такая-то станция, сколько минут стоянка, какой по счету отсюда вагон-ресторан. Яшка знал все. Его приглашали посидеть, сыграть во что-нибудь, попробовать дорожных разносолов.

Подбежала одетая в лыжные штаны и куртку девочка лет одиннадцати и вдруг, ни с того, ни с сего, сообщила, что едет с бабушкой. Он развеселился. Не дослушал, пошел к ним взглянуть на бабушку. Ей с внучкой надо было выходить на следующей большой станции, а у них корзина из ивовых зеленых прутьев.

Никто не видел, не помнил, чтобы у Яшки имелись какие-то вещи: он сел первым и сразу закинул чемодан наверх. Делать все равно было нечего, решил поразмяться, стал помогать пассажирам вытаскивать вещи. Сначала Яшке было смешно, но понемногу он разошелся, распалился, вошел в азарт. Кто по-доброму улыбался ему, кто подмигивал; некоторые оглядывали с подозрением, недовольно говорили, отказываясь: «Сами». Другие кричали, усмехаясь: «Носильщик!»

Он таскал заливчатски, играючи, словно задался одним: вытаскать весь вагон.

На платформе с ним расставались, желали хорошей дороги. Одни прощались холодно, считая, что ему и так хватит доставленного ими удовольствия. Были такие, которые полагали, что это работа и надо заплатить или еще как-то отблагодарить. Кто стеснялся, кто рылся в карманах, вынимал двугривенные, гривенники. Яшка косил веселым взглядом, усмеялся, пожимал плечами, уходил.

В тамбуре он высовывался из вагона, подставлял ветру лицо. Ветер сек лоб, подбородок.

Перед Барабинском подошел к солдату в гимнастерке без погон. Левая рука его была на большой перевязи. Яшка удивился этому сразу. Войны никакой нет, на маневрах стреляют холостыми. Солдат сидел с края и пробовал одной рукой завязывать узелки на носовом платке. Он делал это сосредоточенно, тихо, поджав губы и покраснев.

Поезд замедлил ход. Солдат вздохнул, встал, спрятал платок с узелками и взялся за чемодан — здоровенный, из выкрашенной в бурый цвет фанеры, с проволочными ручками. Яшка, нацелившись, схватился за другой такой же. Солдат устало оглядел его красными от бессоницы глазами и сказал:

— Отойди...

Яшка хмыкнул и, спрятав руки в карманы, насвистывая, пошел к выходу. Он не пропускал ни одной станции.

Солдат взял здоровой рукой чемодан и, стараясь идти прямо, понес его в тамбур. Потом вернулся за вторым. Яшка стоял у поручней, изучая станционные склады. Когда поезд стал, он посторонился, давая солдату дорогу. Тот поставил оба чемодана у подножки, сошел вниз, взял один, снял. Потом другой.

За станцией сигналил автобус, торопя приехавших. С одним из че-

моданов солдат зашпешил туда утиным шагом. Яшке все это надоело, он схватил оставшийся и пошел следом, стараясь не обгонять.

Солдат обернулся. Глаза его сузились. Он цокнул языком, усмехнулся. Яшка весело покачал головой.

Выходя из автобуса, не утерпел и спросил, что с рукой-то... Солдат смотрел в окно на пропавшую в поле дорогу, по которой ему ехать.

Пассажиры усаживались, галдели. Яшка не стал второй раз спрашивать. Но когда вышел, из открытого окна, где сидел солдат, услышал тихий голос: «Снаряды старые обезвреживали»...

Яшка поднял голову. Когда ему было семь лет, он в деревне чуть не погиб от мины на давно непаханном поле, где собирал с мальчишками патроны.

Автобус тронулся, и в ту же минуту Яшка увидел сквозь станционный забор, что вагоны поезда тоже движутся. Он замер, потом рванулся, полетел. Было метров двести. Поезд быстро набирал ход. Если б свободная дорожка — добежал. Но полно людей, деревья, ограда...

Яшка остановился у клумбы с красными астрами. Он дышал носом, успокаивая дыхание. Поезд, увозивший тетради с конспектами, рубашки и материны пироги, миновал стрелки, и его уже почти не было слышно. Яшка поплелся на перрон.

По расписанию раньше, чем через пять часов, ничего не предвиделось. У двери железнодорожного буфета он почувствовал, что давно голоден; утром перехватил наскоро, а сейчас живот совсем втянулся. Сунул руку в карман. Там позванивало несколько монет. Десять рублей, остаток отпускных, остались в одной из тетрадок.

Не на что даже телеграмму дать в Барнаул о чемодане. Надо попросить начальника станции, чтобы сообщил.

Дверь в буфет была открыта. Яшка вошел и сел несмело за столик у стены. Положил на скатерть уставшие руки, опустил на них голову, потер подбородок о пальцы.

Официантка, маленькая, словно девчонка, стояла у окна и не повернулась. Яшка отражался в стекле, он ел хлеб, который лежал на столе. Отставший безденежник. Поест хлеб и уйдет. Пойти графин что ли поставить — пусть запьет.

...Он выпил воды, собрал, съел крошки и обернулся, почувствовав человека за спиной. Солдат, которого Яшка усадил в автобус, стоял позади, собираясь чихнуть.

— Отстал ты. Я и слез.

Он неторопливо раскатывал папиросу пальцами здоровой руки.

Яшка был рад и не рад. Так опростоволоситься перед солдатом!

Сломав папиросу, солдат кинул ее в пепельницу, позвал официантку. Она просеменила к ним, покосившись недовольно на обоих — отставшего безденежника и солдата — и больше уже не глядела на Яшку. смолотившего полкило хлеба, нарезанного для людей.

Солдат заказал по гороховому супу и котлеты с кашей.

Ели молча. Яшка ел быстро, а солдат не спеша. Потом пошли, дали

на солдатские деньги телеграмму, чтобы Яшкины ребята в Барнауле подскочили за вещами, когда придет поезд.

Был только шестой час, но в железнодорожном саду уже наигрывал оркестр. Солдат открыл чемодан. Там оказались яблоки. В другом тоже. Ели их, пили квас.

Квас был хороший. Солдат пил его и все рассказывал, что везет домой в поселок яблоки. Что еще он может привезти... Дареные они девочкой одной, а чемоданы сам сделал — столяр. С ручкой только вон что.

Поезд опоздал. Из автобуса солдату было видно, как Яшка поднялся по ступеням в вагон и дальше не проходил, стоял в тамбуре.

Всего только и сказали друг другу, из какого города — поселка. Солдата звали Серегой.

Автобус покатил, подымая пыль, и пропал в ней. Поезд тронулся нехотя и шел еле-еле.

Яшка сейчас почувствовал, что отпуск кончился. Ему думалось о своем Барнауле, а еще почему-то о войне, которой сейчас не было. Больно просто ему живется...

Всю дорогу, что оставалась, Яшка ехал на площадке и смотрел, смотрел на поля, будто видел их первый раз.

А. СЕМЕНОВ

МИКИТОК

Рассказ

Забавный он был мужичишка: маленький, согнувшийся, с рыжей бородой. Да и не рыжая борода была; между рыжими волосами было натолкано столько разномастных колючек, что и не поймешь, какая масть у бороды. И фамилия ему досталась не серьезная — Сосулькин. Только по фамилии его не звали, все Микиток да Микиток. С кем-нибудь случится горе, жалеют, сочувствуют. А Микиток вернулся с фронта без ноги, идет по деревне на своей деревяшке, и ему вслед:

— Микиток вон шкандыляет.

Слово-то какое придумали: «шкандыляет»!

Виноват был сам Микиток. Жена его, Татьяна, женщина самостоятельная, примерная труженица, доярка, на весь район известная и в крае ее знали. Маяк, одним словом. Девять детей у них, обувь, одеть, накормить надо. А у Микитка никакой заботы. Балагур, больше ничего не скажешь.

Соберет вокруг себя колхозников — это уж всегда так: где Микиток, там пусто не бывает — соберет людей и рассказывает:

— Скоро поедем с Таней в район пособие получать. Это хорошо, что пособие назначено, не у каждого ребятшек столько. Приятно нам. Как получим пособие, я и говорю Татьяне:

— Пол-литра надо по такому случаю.

А она не соглашается.

— Красенького, говорит, бери, красенького и я выпью, а водки не бери.

Я ей не перечу, возьму красенькое... и пол-литру «Московской». Выпьем красенького, раскраснеется моя Татьяна, как помидор, добрая станет, я и вытащу водочку.

— Теперь, — говорю, — мою выпьем, чай и моя доля в пособии есть. Без меня ребятшек не было бы.

Таня засмеется, выпьет стопочку.

Вдем мы, десно заведем и сдастся, что богаче нас никого нет. А приедем домой, в избе одни ребятшки. Гостинцы им раздадим, погрызут они, я и крикну:

— На улицу, гулять!

Свои катяшки сниму, Таню заставлю снять. Все равно двоим, а то и троим, не хватит...

Бедно жил Микиток. Кабы в богатом колхозе, лучше бы жил. А то бедный колхоз был, до сентябрьского Пленума на трудодень, считай, почти ничего не давали. В последние годы колхоз начал поправляться, но не набрал еще всех сил. Помогал колхоз Микитку и Татьяне, да разве напоемощаешься на девять ребятишек. Не напасешь на них. Ведро картошки наварит Татьяна, высыпет на стол, и хоть бы одна картошина осталась!

Трудно жили, одним словом. А Микиток не унывал. Татьяна иной раз начнет вздыхать, жаловаться, а он:

— Есть люди еще хуже нас живут.

— Ну, уж беднее нас никого нет.

Татьяна всплакнет даже.

Микиток подойдет к ней, обнимет и ласково так скажет:

— Помнишь, писала мне на фронт: ничего мне не надо, только, чтобы ты живой вернулся, рядом был. Вот он я, рядом.

Татьяна засмеется счастливо, будто жаворонок запоет, обнимет Микитку и поцелует в губы крепко-крепко, как в молодые годы. Любила Татьяна Микитку! Увидит его, глаза разгорятся, щеки разругаются и вся сияет, как солнышко. Кто ее поймет, женскую любовь! Бывает, живет женщина с самостоятельным мужчиной. И молодой он, и красивый, и подарки ей дарит чуть не каждую неделю, а она, смотришь, и ушла от него. И к кому же? К какому-нибудь случайному мальчишке, вроде Микитки.

Как над Микитком не смеялись, а над любовью его с Татьяной никто смеяться не мог. Светлой она была, как утро, и чистой, как роса.

Где только Микиток не работал: в сторожем, и ездовым, и конюхом. Ругать его, конечно, за то, что от работы меняя нельзя. Инвалид. Решили как-то правленцы полегче ему работу найти, в контору хасиром назначили — грамоты-то у него хватало. Так отказался:

— Пропью, — говорит, — всю кассу.

А зачем наговаривал на себя и сам не знает. Выпивал он совсем редко: по праздникам и когда пособие получит. И то понемногу. А в кассиры не пошел потому, что привык на народе быть, от скуки конторской, как растение без воды, зачах бы. Зимой в конторе людей хватает, все, кому делать нечего, сюда идут. Семечек нащелкают, что по шелухе снеготопить можно. А летом, кто пойдет в контору? Кроме мух, никого там нет.

Некоторые в деревне Микитку лодырем считали. Только напрасно это. Кому помощь нужна была, влѣкнет Микитку, и никогда отказа не было. Каждому помогал. И у себя дома всегда что-то мастерил. Только непутевый был. Задумал ворота ставить, а для чего они, когда во дворе ничего нет? Столбы вкопал и, видно, понял, что ворота ни к чему, крышу стал крыть. Но по крыше немного на деревяшке налазаешь. Бросил Микиток и с дальней возиться.

Вот такой он и был: начнет одно дело, не кончит, за другое берется. Глазами-то он много бы сделал, а сил было, что у ребенка, мало того, что ноги не было, ни с какой стороны не мог он здоровьем похвалиться. В детстве хилый был, в молодости с другими парнями силой не мог равняться, если бы не война, и в армию его не взяли бы. Ну, а на фронт подал, там здоровья не прибавилось.

В такой хворый Микиток не был, а никогда не унывал. Иной и здоровый чуть трудность встретит и разнюнится, а Микиток только посмеивается. На ребятишек своих никогда не крикнет, шуткой да смехом к ним, а они слушаются. Очень послушные ребята у Микитки и Татьяны, учатся хорошо, учителя в пример их ставят.

Говорят: где тонко, там и рвется. Вот и с Микитком так получилось. Летом, в жару, засуха такая стояла, что листья у деревьев свертывались, заторелся дом Микит-

ка. Татьяна на ферме была, а сам Микиток на маслозаводе молоко колхозное сдавал. Когда прибежал, дом, как факел, пылал, крыша рушиться стала. Смотрит: ребятишки все до единого сидят, плачут. Обнял каждого, поцеловал, и они уже смеются. Только Вовка — младший мальчишка — не унимался:

— Жулик, Жулик там! — плачет он и показывает на дом.

Жуликом собаку звали. Назвали-то ее Джульбарсом, а потом на русский лад перевернули — Жуликом.

Микиток — во двор, к конуре, отвязал Жулика, схватил его и притащил ребятишкам. У собаки язык вывалился, еле дышит, а живая. Микиток покраснел, потный, будто из бани. Сел рядом с ребятишками, потрепал собаку по загривку и говорит:

— Вот теперь вся семья в сборе.

И смеется громко.

Колхозники удивляются: до смеха ли здесь, когда ни стола, ни стула не осталось — ничего не успели вытащить, и на дворе одни столбы торчат, что Микиток поставил, когда ворота сооружал.

Поселились погорельцы в колхозной конторе. Колхозники одежду принесли, сельсовет помощь выхлопотал, а к осени колхоз новый дом построил, в сто раз лучше старого.

А на следующий год и вовсе хорошо Микиток с Татьяной зажили. Урожай в том году выдался большой, трудодень дорогой стал, привезли Татьяне с Микитком два воза хлеба и денег чуть не двадцать тысяч получили.

Зимой Микиток уехал на лесозаготовки. Колхоз строительство развернул, колхозники новые дома поднимать стали, лесу много понадобилось. Правление послало в тайгу бригаду, и Микиток в нее попал.

Работал он в бригаде конюхом, но больше не из-за лошадей его колхозники потребовали, а для того, чтобы веселее в лесу было. Придут вечером колхозники усталые, а он такое сморозит, что барак ходуном от смеха ходит. Бывало, и серьезное рассказывал, газеты читал. На всех газет не хватало, да и свет бедный был, вот Микиток сядет к лампе и читает, а колхозники слушают.

Однажды развернул он газету и говорит:

— Кандидатов в депутаты начали выдвигать.

Колхозники подошли ближе к Микитку.

— Кого там наши выдвинули, посмотри-ка, — требуют.

Микиток смотрит в газету и приговаривает:

— Не у нас, не у нас.

А потом крепко, как вожжи, схватил газету, уставился в нее. Глаза остановились, а губы дрожат, вот-вот Микиток заплачет.

Испугались колхозники, никогда они не видели Микитка таким, а он застыл, словно памятник, от газеты глаз оторвать не может, молчит.

Взял бригадир газету и сразу увидел: «Сосублинну Татьяну Ивановну» — и мелкими буквами напечатан колхоз.

Колхозники обступили Микитка, радуются, знают, что лучше Татьяны никто в колхозе не работает, да и рассудительная она, на правлении ее, как председателя, слушают. И все-таки где-то точит сомнение: как же это у Микитка жена депутатом будет?

Но когда бригадир сказал: «Я думаю, товарищи, что мы все единодушно поддержим кандидатуру товарища Сосублинны Татьяны Ивановны», то все рассудили, что депутатом она будет настоящим.

Бывает так: живешь с человеком бок о бок, привыкнешь к нему и кажется он тебе обыкновенным, ничем не примечательным, а стоит взглянуть на него со стороны и засияет он, засверкает, как граненый алмаз. Так было и с Татьяной. Когда после

бригадир стали говорить о ней, то каждый нашел столько хорошего, что пришлось только удивляться: как этого раньше не замечали.

Бригадир направил Микитка домой.

— Без тебя тут управимся, — сказал он, — поезжай домой, Татьяну поздравь, от нас привет передай. Протокол сvezешь, что мы поддерживаем ее кандидатуру. Сейчас напишем.

Приехал Микиток домой. Обрадовались ему в деревне, соскучились без него. Но Микиток больше не балагурил, ходил серьезный, сосредоточенный. Скажет два слова и замолчит. Куда только говорливость его пропала! Колхозники даже недовольны, укоряют его:

— Что ж ты, Микиток, будто сам депутатом стал.

Только над Татьяной он посмеивался, как раньше, хоть и ласково, а посмеивался. На людях не позволял себе смеяться, а как останутся одни — подтрунивал над ней. Но заботиться о ней стал больше: и за скотиной поможет ухаживать, и половики вытрясет. И ребятишкам больше внимания от него стало. Как только вечер настанет, смотришь, он с ними возится. То одному мастерит что-нибудь, то другому, а то возьмет самых маленьких и гуляет с ними, сам в середине, а малыши по краям.

И в колхозе Микиток стал одним из лучших. Раньше, в спокойное время, зимой, например, Микиток день-другой дома сидит, и никто его не трогает: зачем, инвалида тревожить. Теперь, если Микитка не зовут, сам идет в контору, требует работы.

Эту историю рассказал мне года три тому назад старичок-бухгалтер одного алтайского колхоза. Недавно я снова побывал в том колхозе. Мы сидели в конторе, и бухгалтер неторопливо и обстоятельно рассказывал об артельных делах.

Вдруг я увидел Микитка. Он шагал по зеленой деревенской улице, припадая на одну ногу. Руки его были заняты, он нес пилу-ножовку и рубанок.

Это был уже не тот Микиток, которого я знал раньше. Он шел, высоко подняв голову, и хромал гораздо меньше, чем раньше. Гладко выбритое лицо Микитка покрывало степной загар, от разношерстной бороды не осталось и следа. Микиток определенно помолодел, в этом не было сомнения. Я даже начал сомневаться, Микиток ли это, и спросил бухгалтера.

— Он, кому же больше, — сказал бухгалтер, глянув в окно.

Я спросил, как живет Микиток.

— Хорошо живет, — бухгалтер оживился. — Можно сказать, даже очень хорошо. Лучший столяр в колхозе, удивительно, как быстро освоил это дело. Только, если встретите, Микитком не зовите, никто его так у нас теперь не называет, все уважительно величают Дмитрием Петровичем.

Я посмотрел на Микитка, и мне почему-то стало жалко прежнего беззаботного балагура, умевшего развеселить всю деревню. словно угадав мои мысли, бухгалтер сказал:

— А веселый, лучше прежнего. Где народ, там и он. В самодеятельности первый заводила, конференсье в каждом концерте. Стоит ему на сцену выйти, публика уже радуется.

Микиток прошел мимо конторы. Теперь я заметил, что вместо деревяшки у него протез. Как отполированные, блестели ботинки, он был одет хорошо, почти нарядно.

Микиток щурился от яркого солнца и улыбался.

Василий Казанцев

Л И Ц А

Лица — это произведения искусства,
Выполненные искусно или неискусно.
Лица лепили мир и война,
Холод и зной, правота и вина.
Их, как лики причудливых скал,
Ветер обтачивал, дождь высекал.
Дороги, свиданья, степные палатки,
Вовремя сказанные слова
И самые малые неполадки
Имеют авторские права
На взгляд, на морщинки, на лба
Благородство...

А главный художник, носитель лица, —
Это лишь общее руководство.
Да вся ответственность до конца.

Р У К А

Главное в руке — способность
Рисовать, лепить, писать тома.
Рисовать, лепить? Нет, главная особенность
Все же — строить, возводить дома.
Нет. Пожалуй, нет. Важней, чтоб сила
В каждой мышце радостно сквозила.
Сила? Тоже нет. Не то, не так.
Не того порядка слово.
Главное — способность сжать кулак.
Тоже нет!.. Пожать ладонь другого.

Ф. Моисеенко

КРИВАЯ ЖИЗНЬ

РАССКАЗ

Летом прошлого года на Верне-Черданский пережат, что недалеко от села Пореченского, вместо ушедшего на пенсию бакенщика приехал хромоногий Спиридон Жилин. Лысый, с дряблым безбровым лицом, покрытым морщинами и редкой рыжей щетиной, с тонкими бескровными губами и глубоко сидящими глазками, он будто находился в состоянии постоянной настороженности.

В соприкосновение с людьми вступал мало и как-то странно

улыбался. Губы, точно резиновые, то растягивались, то сокращались, глазки пропадали в морщинах, из груди вырывался тоненький, ележный голосок:

— О-ох, люди-братья!..

Семья у Жилина: жена Матрена — старуха да дочь Настя — вековуха.

В Пореченском нашлись люди, которые признали Спиридона. Раньше он жительствовавал в соседней деревне Таловый Мыс. Был мужиком хитрющим, пронырливым и лицемерным — борода апостольская, а усок звериный, без ножниц стриг, с молоду привык за копеечку держаться. Хозяйство у него вела одна Матрена да работники, которых он менял каждый год. Сам же Спира занимался промыслом рыбы и зверя и свою непонятную жизнь старался прикрыть показной приверженностью к религии. В округе в шутку его так и звали — «Святой Спира».

В 1928 году, когда в деревню стали проникать слухи о коллективизации, он вовсе сгинул, как обух в омут канул..

Однажды под осень, в день третьего Спаса, Спира вернулся из церкви бледный и растерянный.

— Что с тобой? — замерла перед ним Матрена.

— Прогневил бога... Попущение божецкое на род людской, — одними губами произнес Спира. — Зараз начнут всех сгонять в коммунию, отец Яков под строгим секретом упредил. Наше станет вашим, даже бабы будут обчими...

— Может, выдумывают, клепят?

— Дура! — Спира пронизал жену глазками-буравчиками. — Священный сан запрещает батюшке наветничать... Вот что, Матрена: уедем

в город. Собирай помаленьку манатки, да никому ни слова!.. Хату, лиш-
ний скот, хлеб продадим, коров уведем с собой. Нехай она пропадет
пропадом, коммуна эта!

— Да ладно ли ты затеял, Спира? Куда мы от родной земли! —
заголосила Матрена.

Глазки Спиры налились гневом:

— Сполняй, что велят!.. Двинемся через три дня ночью...

Хату, излишки пшеницы Спира тайно продал церковному старосте,
свинью с гнездом поросят за сходную цену отогнал отцу Якову. Запа-
сы хлеба и разный скарб уложил в две рыдванки, в которые впряг по
паре лошадей. Двух коров и нетель привязал за рога к подводам. На-
меченным часом был таков.

Ехал ночью, днем укрывался где-нибудь в логу неподалеку от се-
ления, переждал до темноты.

Матрена, грузная, с выпуклыми, цвета чернослива, доверчивыми
глазами, с молодю привычная к строгости и покору, на стоянках слезала
на землю, распрямляла затекшие ноги и высвобождала закутанную в
одеяло Настю. Спира же, дав коням корма и по-хозяйски оглядев под-
воды, осторожно выходил из укрытия, чтобы пронохать, чем живет мир.

В город Жилин приехал на четвертую ночь, под утро. На самой
окраине, там, где заросшая полынью степь внезапно обрывалась крутым
спуском к Оби, Спира распряг лошадей, задрал к небу и связал
вожжами оглобли рыдванок, поставленных одна против другой, и на-
кинул на них самотканый полог.

— Вот, на первый случай, и хата! — сказал он. — Дальше бог ми-
лостив, все будет...

На другой день Спира чуть свет обуздал игреневого мерина, уска-
кал в город и прямым сообщением — на конный базар. Игренька был
конек видный, всем на зависть. Охотников на него сразу нашлось много.

— Продаешь? — наперебой спрашивали завсегдатаи базара.

— Отчего бы не продать, — неопределенно отвечал Жилин, а сам
присматривался к покупателям.

— Сколько? — особенно горячо приставал широкоскулый, с
вытянутым, как у утки, носом и узкими желтыми глазами.

— Пятьсот...

— Четыреста! — назвал свою цену утконос.

— Мне не столь деньги дороги, сколь лешишко бы, если есть, — за-
кинул удочку Спира...

Широкоскулый оказался той находкой, которая попадаетея не-
чаянно.

— Отойдем, — скосил он в сторону свои желтые глаза и взял Спи-
ру под локоть. — Я — маклак...

На другой день Жилин возил из города бревна, плахи, гес, жерди.
Работал, не давая передохнуть ни себе, ни Матрене... А через месяц на

месте походной кибитки красовался добротный курень, по окна врытый в землю, поблескивавший на солнце белизной свежеструганных плах. Поодаль от куреня стоял хлев и были загорожены денники для скота.

— Вот так, — довольно ухмылялся перед женой Спира, — бывает, что вовремя отскочишь, потом дальше прыгнешь. Не беда, что и в землю наполовину пришлось зарыться — эдак корни ловчей пускать...

— Уж и жисть! Чисто кротячья — в норе, на отшибе, — посетовала Матрена.

— Не разбираешься ты в настоящих наслаждениях жизни, — игриво обнял ее Спира. — Красна изба не углами, а пирогами. Денежка чтобы вольная водилась, да чтоб над тобой никто не висел — вот в чем сладость и красота жизни. Без денег человек худенек, а денежка дорожку прокладывает...

— Так-то оно так. — соглашалась покладистая Матрена.

— А коли так, — в тон ей продолжал Спира, — то начинай-ка, супружница дорогая, и ты денежку ковать. Ходи в город, продавай: где молочко, где маслице. Весна придет — побольше овощу всякого сади. Базар он все любит...

И Матрена «ковала». Приспособив на коромысле два объемистых алюминиевых бидона, она сливала в них все, что надаивала от своих коров, даже себе не оставляла, и, сгибаясь под тяжестью, каждый день обнашивала квартиры горожан. К вечеру она распродала оба пузатых бидона и приносила туго завязанные в белый платок и спрятанные за пазуху медяки, серебрушки и замусоленные бумажки.

— Вот это резон! — восхищенно восклицал Спира, разглаживая рубли и пересчитывая мелочь.

Так шло время. Спира все глубже пускал корни. Он каждый день пропадал на конном базаре, иногда уводил из дома одного, приводил домой другого коня. Нехитрое занятие со смешным названием «маклачество» сверх ожиданий оказалось прибыльным. Вскоре у него вместе с Матрениными скопилась кругленькая сумма денег, которые он замуровал в глиняной корчаге и схоронил в потайном месте. «Эх, не делиться бы копеечкой с этим дьяволом — маклаком, — не раз терзал он себя тяжелыми думками. — Но все равно я от него отделаюсь!..»

Жадность, алчность вдруг проявлялись в нем с такой силой, что он не знал, куда деваться.

Вот что, — снова огорошил он однажды Матрену, — приучай к делу Настьку. Руби самосад, нехай носит, где-нибудь на перекрестке продает. Неча даром хлеб есть...

— Да ты ополоумел! — взмолилась жена. — Дите в школу ходит, а он...

— Школа жить не научит!..

А тут настал срок и долг платить. Это было следующей осенью. В курене Спиры как-то под вечер появился утконос.

— Милости просим! — раскланялся хозяин, растягивая в искусственной улыбке резиновые бескровные губы, и провел гостя в передний угол. — Матрена, давай на стол что получше, это же наш отец родной, благодетель бескорыстный...

А сам уже хитрость припас... Как только стол был уставлен самогонном, солониной, свежей телятиной и всякими другими яствами, Спира, не давая повода для подозрения, стал поливать словами, как маслом:

— Мы люди простые, по простому и живем. Дюже боимся наветов всяких. Должен, настал срок — плати, а ты — получи по чести, по совести: долг платежом красен. Мы условию крепко помним и никогда ее не нарушим: ни против бога, ни против людей не пойдем. Спасибо за доброту великодушную, за компаньонство щедрое; благодаря твоей милости на ноги встали. Нехай воздаст тебе всевышний многие множества добра всякого; вот пять тыщ целковых, как одна копеечка!

И широким жестом отдал пачку крест накрест перетянутых шпагатом ассигнаций.

— Спасибо, спасибо, Спиридон Силыч, вижу, ты честный человек, — довольный, раскатился баритонцем утконос...

— А теперь, доброжелатель наш, — перебил его Спира, — не побрезгуй хлебом-солью, откушай, что бог послал, и будем мы отныне нареченными братьями!

Он усадил гостя под божницу, широко перекрестился:

— Отче наш, сущий на небесах! Да светится имя твое...

— Кушайте, гостенек дорогой, — застенчиво потчевала и Матрена.

Спира наполнял посуду: гостю чайный граненый стакан, себе и Матрене узкодонные миниатюрные рюмочки.

— Несправедливо, — пытался было возразить утиный нос, но хозяин деликатно предупредил:

— Хозяин-барин! Хочу жбаном, хочу стаканом, а захочу и наперсточком... Не беспокойся, нам и рюмки лишку. Ну, твое здоровье!

— Твой дом — твоя воля, — согласился гость и, опрокинув в широкую пасть стакан первача, поддел вилкой кружок огурца, зажевал выпитое.

А Спира уже угощал с новой энергией: то встанет, то присядет, то подаст, то подвинет гостю какое-нибудь блюдо. Тронутый вниманием и гостеприимством, захмелев от крепкого напитка, утконос расчувствовался. Он схватил за руку суетившегося Спиру и в порыве необъяснимого восторга притянул к себе:

— Посиди, брат, хороший ты человек, истинно христианская душа!

И Спира, продолжая играть роль гостеприимного хозяина, не переставая:

— Да я что, я — хозяин. А хозяин, что чирей: где захотел, там и сел, — смеялся он и тоже обнимал гостя.

В самый разгар гостибья, которого раньше в доме Жилиных почти никогда не бывало, скрипнула дверь и на пороге появилась изумленная, большеглазая, как Матрена, девочка с сумкой через плечо:

— Тять, не купляют, — скороговоркой выпалила она, не отпускаясь от дверной скобы.

Спира незаметно для гостя метнул на дочь лютый взгляд, от чего та испуганно сжалась и умолкла.

— Что это у такой красавицы «не купляют»? — расплылся в улыбке гость и игриво подмигнул Насте.

— Да так, пустяк, — хотел было замять Спира, но секрет выдала Матрена.

— Да вот, милый человек, самосад продавала. Оно ведь копейка — не щепка, на полу не валяется.

— Не в деньгах счастье, — с напускным безразличием махнул рукой Спира, но Матрену поддержал утконос:

— Правильно баба толкует. За пазухой грош на всякое время хорош.

— Нехай будет по-вашему, — ухмыльнулся Спира и лихо воскликнул: — Еще по одной!..

За окнами уже давно была ночь, когда гость уткнулся носом в стол и могучим храпом огласил курень. Спира, не говоря ни слова, оделся, вышел за дверь. Постоял возле куреня, прислушался, затем направился в пригон, откуда, почуяв хозяина, приветливо заржал конь.

Как ни протестовала Матрена, Спира сделал свое дело...

Утконос проснулся в канаве крайней городской улицы. Чуть брезжил рассвет. Кое-где уже слышались голоса прохожих, лаяли собаки, горланили петухи. Тряхнув тяжелой с перепоя головой и зябко передернувшись, утконос вдруг сунулся за внутренний карман френча.

— А-а-а! — взревел он и пулей вылетел из канавы.

Разобравшись, где находится, опрометью ринулся в степь.

— Обокрали, до копейки выгребли! — заорал он прямо с порога, ворвавшись в курень и повалившись на пол.

— Господи, не приведи господи! — крестился Спира и растерянно топтался посредине куреня. — Воздай им бог сторицей добром за зло. А твои слезы пусть увидит пресвятая Мария-богородица!.. Как это тебя угораздило попасться аспидам в руки? Говорили, просили не ходить домой — не послушался.

— Я и постель приготовила — не согласился; домой, да и все, — вторила мужу перепугавшаяся Матрена. — Ай, какие мазурики! И когда их поймуют, антихристов!..

Утконос, зажав руками всклокоченную голову, уже сидел за столом, время от времени повторяя в безысходном горе одно и то же проклятие: «Подавились бы вы, окаянные!» Трудно было понять, к кому оно относится...

Когда маклак немного успокоился, Спира кивком головы сделал знак Матрене и та поставила на стол четверть самогона.

— Довольно, брат, печалиться, — сочувственно вздохнул Спира. — Горе да море не выпьешь до дна. Моли господу бога, что еще жив остался... Давай-ка вот, поправься малость...

На этот раз мертвецки пьяного утконоса Спира привез прямо домой.

3

Шли годы. Жилин по-прежнему промышлял маклачеством и перепродажей коней. Втянулись в свое дело и Матрена с Настей. Дела в семье совсем было пошли исправно, как вдруг однажды Спира ворвался домой и сам не свой замялся по куреню:

— Кончено! — стонал он и фронял в широкие ладони голову.

— Какая опять напасть? — тревожно спросила Матрена.

— Кончено!.. Подписку о невыезде взяли — спекулянт, судить будут...

Судили строго, предчувствие не обмануло Спиру. Отправили в Туруханский край... Работа на валке леса в непроходимой тайге с непривычки казалась настоящим адом. Холод, непролазный снег, усилия до искр в глазах — такой дорогой ценой платил Спира за свою жадность.

А раз не успел отвернуться, и подрезанная листовница приколола суком к земле правую ногу. Семь месяцев лежал в санчасти — нога была пройдена насквозь. «Погибнет напрасно душа православная», — не раз оплакивал себя Спира и прощался с белым светом. Но выжил...

Спустя пять лет, в самый разгар лета, Жилин вышел из заключения. Вернулся в свой город и не нашел не только куреня, но и самого поместья. Упираясь трубами в небо, там уже стояла серая громадина — ТЭЦ, а рядом с нею сверкал тысячами оконных стекол гигант — текстильный комбинат.

Сильно припадая на искаленную ногу, Спира обошел всю площадку комбината, с молчаливым любопытством приглядываясь ко всему. Постоял около проходной, которая то выбрасывала, то поглощала черной пастью огромных дверей толпы говорливых работников, и так же молча удалился.

Спира был уже далеко не тем Спирой, что до тюрьмы: глаза словно еще глубже спрятались и смотрели зло, сторожко. Разговаривал он тоже мало и осмотрительно.

Спира и сам с некоторых пор стал замечать за собой, что все больше озлобляется и чурается людей. Если приходится с кем неизбежно соприкасаться, то подлинную свою душу он обязательно старается скрыть за медовой улыбкой и сахарными словами. И вовсе не оттого,

что он утратил то внутреннее человеческое чутье, которым люди способны остро ощущать жизнь, открывать в ней для себя радости и красоту. Но почему же он не понимает вот этих баб и девушек в одинаковых фартучках с кармашками? Отчего они такие радостные и веселые, почему друг дружке улыбаются? Что отличает их от него, его от них? «Видно, старею, — размышлял Спира, — а, может быть, оттого, что всю жизнь жадовал и что это моя натура такая? Не, не! Подумаешь, коней продавал, жену законную заставлял копейку добывать, дочь учил, как жить на свете... Копейка к копейке — живет семейка! Не, во всем должен быть свой крен в жизни, своя выгода, свой прок — а как же? Иди, иди, Спиридон Силыч, своей путей, она у тебя куда как верная!..»

И шел.

Семью он разыскал за Обью, в поселке Зимовском. Как стал строиться текстильный комбинат, Матрене предложили выбрать место жительства: либо по западному тракту, либо за рекой. Облюбовала за рекой.

Письма мужу не писала — неграмотная, а Настя тоже такая же писательница. Думали, вернется Спира — и так найдет. Язык до Киева доводит...

Спира на все смотрел оценивающим взглядом. Жена и дочь по-прежнему жили огородом да скотиной. Хата тоже так себе — бедняцкая. Только вот Настя уже «невестилась». Вовсю ухаживали женихи. Видно, черными большими глазами привораживала парней.

Предпочтение отдавала какому-то Николаю Кузнецову. Кто это он? А из вооруженной охраны моста. Белокурый, кроткий нравом, веселый характером. Запросто посещает дом, про разные страны рассказывает, а когда и дров наколет, воды поможет принести с речки. Хороший будет зять!

Но все-таки надо самому убедиться. Мало что Матрена налагостит...

Николай пришел на другой день вечером. Спира сидел на крылечке и еще издали заметил парня в форменной одежде. А когда Кузнецов приблизился, подлил сладкие, как сироп, слова:

— А, служивый! Проходи, проходи: добрый гость хозяину приятен. Посидим рядком, поговорим ладком...

Познакомились. Сидят. Разговаривают. Вдруг Спира будто из простого любопытства спрашивает:

— Рядовой?

— Так точно... пока, — улыбнулся Кузнецов, ничего не подозревая.

— А-а, — неопределенно промычал Спира, потом вдруг ойкнул, поджал ногу и, не извинившись, заковылял в избу. Кузнецов с искренним участием спросил, что случилось и, готовый прийти на помощь, поспешил за хозяином. Но тот — на койку, отвернулся к стене и больше не обронил ни слова, пока не ушел «зять»...

Кузнецов отстал от Насти. Стал ухаживать другой, но, прослышав о родителе, отшатнулся.

«Отчего люди нас обегают?» — не раз после этого думала Настя, гайком умываясь горячими слезами. И все яснее и яснее первопричину видела в отце. Но как пойдешь против отца, против его воли? «На свете все найдешь, кроме отца и матери», — думала Настя. Но тут же в голову лезли другие мысли: «Про нашего батьку много молвы, да мало доброго. А жизнь-то одна, жить-то раз...».

— Тять! — решительно глянула как-то Настя в запрятавшиеся глаза-горошинки Спиры. — Скажи, ты мне лиходея али отец родной?..

Спира оторопел, невидящим взглядом смотрел на дочь и нервно жевал губами. Он мог бы сейчас избить, убить ее, но с мучительным любопытством ждал, что еще скажет Настя. И злость, и слезы, и обидно шемящее чувство захватывали дух.

— Ты мне ломаешь жизнь, поперек путя становишься! — залпом выпалила Настя. — До коих пор из меня жилы будешь выматывать!..

— Будя дурить! — не своим голосом рявкнул Спира и зверем накинулся на дочь.

К удивлению Насти, даже и мать на этот раз держала сторону отца:

— И чего тебе замужество далось? Выйдешь на скорую руку да попадешь на долгую муку...

А Спира обобщил все по-своему:

— Лучше вон больше думай, как лишнюю копейку добыть...

Сами Спира еще не знал, куда себя определить, но о поступлении на работу даже и помыслов не было. «Какой из калеки работник?» — как бы даже довольный тем, что инвалид, рассуждал он вслух и при людях еще сильнее припадал на раненую ногу.

На другой месяц после возвращения из Туруханска Спира, хоронясь от посторонних глаз, шел с вязанкой ракиновых метелок и стопкой плетушек-корзинок, предназначавшихся для базара. Его бесило это малоприбыльное предприятие, и в избу он вошел, весь пылая от гнева. Глянул на сгорбленную спину жены, катавшей рубелем белье, раздраженно крикнул:

— Тебе не нашлось другого дела, кроме как тряпки разглаживать?

— Ты же мою работу не будешь делать, — хотела мирно закончить разговор Матрена, но муж еще пуще вспыхнул:

— Другие-то бабы где веник свяжут, где подсолнушков навеют, либо еще что сподобят, продадут — все в дом лишняя копейка, а ты вечно никуда, все тебя носом надо тыкать!..

— Чего это ты, Спира, все злишься, поедом нас ешь? — заплакала Матрена и мокрыми глазами сунулась в передник.

Спира ткнул жену кулаком в бок:

— У, скотина, только реветь и горазда!..

Настя с годами стала отцветать и все больше обретала вид забитой рабочей скотины. Парни давно уже перестали ее замечать, и она окончательно ударилась в барышничество, поставляя на базар молоко свежее, молоко квашеное, варенец..

Постарела, осунулась от работы, от постоянной погони за каждой копейкой Матрена. Ее сильно выпуклые глаза теперь выражали постоянную тоску, скорбь, безысходную муку. Эта безысходность еще пуще отделилась, когда в дом ворвалась страшная весть: «Война!..».

Спира тоже было растерялся, приуныл, но вскоре ободрился, повеселел.

— По мне хоть два Гитлера нехай наступают, я не воин!..

Кому-кому, а Спира война была даже на руку. Нивесть откуда принес однажды в мешке двух поросят — боровка и свинку.

— Ходите за ними, растите, — приказал Матрене и Насте. Свинья — крестьянская копилка, — довольно сощурился он, и плутоватые глазки пропали в морщинах...

И пошло дело, как по маслу. Что ни год — Спира двух-трех кабанов на базар. А мясо в войну в цене было. Накопления стали расти небывало. Спира верит и не верит своему счастью, довольно потирает руки и прячет в глубине души ехидную улыбку.

Совсем уже было наполнилась кубышка. Но тут, как гром с ясного неба... Денежная реформа!

С расстройства Спира две недели по ночам бредил, соскакивал с постели, почти ничего не ел. Что Матрена с Настей силком протолкнул ему в рот, тем и жил. Лишь к исходу второй недели пришел в себя, да и то умолк, будто онемел. Матрена с Настей переглянутся: мол, что это с человеком; как бы еще с собой чего не сделал! И опять притихнут. А Спира уставится в одну точку, задумается и по целым часам так глядит. Либо примется плакать, как малое дите.

Потом стал успокаиваться. И пошло опять... Начал плести корзинки, вязать метелки, добывать то налимов, то щук и втихомолку сбывать горожанам. Матрена с Настей и того лучше приспособились вырывать денежки с огорода да за молочко.

Шли годы...

Когда Спира долго не вставал с постели, Матрена и Настя знали: сегодня отдых. Никто никуда не пойдет, не поедет и сам, целый день будет семечки лузгать, в тени прохлаждаться.

— Бабы, чтой-то радио молчит, послушать бы новости, — не то попросил, не то приказал Спира.

Настя включила в сеть висевший в простенке тарельчатый репродуктор.

Чекания каждое слово, московский диктор читал: «...Указ Президиума Верховного Совета РСФСР...»

Спира приподнялся в постели на левый локоть, насторожил слух:

— Цытьте, бабы. Указ...

А диктор, между тем, читал дальше: «...от 12 августа... О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках...»

— Матрена, ты слыхала, что радио передало? Или мне послышалось? — дрожащим голосом спросил Спира и сел, словно прирос к кровати. Забегали глазки, затряслись, побелели и без того бескровные губы, на лбу выступила испарина. Когда Указ передали, тяжело встал и, не помня, что делает, как был в подштанниках, так и зашаркал по избе босыми ногами.

— Доконали! — наконец выдавил из себя Спира и вышел на улицу. Забрел в пригон, в хлев, посмотрел на все, словно впервые видел, и вдруг, просияв, будто что нашел, торопко захромал в избу.

— Нет, не доконали! — еще с порога крикнул он. — Руки коротки!.. Матрена! — У Спиры лукаво сощурились глазки. — Говори славу богу!

— Чего опять случилось? — непонимающе глядела та.

— Говори!

— Ну, слава богу, — перекрестилась Матрена.

— То-то же... А надесь мне знакомый рыбак из городу сказывал: место для меня подходящее находится — бакенщиком на Чарыш. Ему самому предлагали, отказался... Работа не шибко хлопотная, втроем управимся. А главное, скотинку всякую, даже рабочую, вольно можно держать. Рыбалка открытая, что хочу, то ловлю. А там, глядишь, вспомню молодость — волка промышлять стану. Как? Ить не жизнь, а любота. И места родные. Нас там теперь никто не помнит, не знает...

— Господи! — тяжело вздохнула Матрена. — И когда ты угомонишься и нам покою дашь?... Делай, как знаешь, я на все согласная.

— А зарплата у нас будет двойная, — выложил Спира самый веский аргумент. — Бакенщику положен гребец, грецом запишем Настю...

Так спустя тридцать один год Спира снова появился на Чарыше.

5

Постовой домик бакенщика на Верхне-Черданском перекате стоит на высокой гривке лицом к Чарышу. Отсюда далеко видно реку и привольные заливные луга.

— Любота-то какая! — захлебывается от восторга Спира. — Не место — рай земной!..

Достоинства этих мест Спира знал хорошо, потому так и расхваливал Матрене, сбивая поехать бакенить. Вот теперь-то он размахнется! Река одна озолотить может. А луг, а непроходимые забоки, а бесчислен-

ные озера! Тут и трава, и дрова, и ягоды, и дичь, и рыба, и зверь всякий — бери, не ленись!

Спира сам лишится покоя, добывая богатства, и Матрене с Настей не даст лишнего посидеть без дела. Ведь все дармовое, само в руки просится...

Вместе с женой и дочерью он объехал перекат, все осмотрел, обследовал фарватер, замеченные отмели обставил по всем правилам бакенами.

— А теперь перекат препоручаю вам, — сказал Матрене и Насте. — В свободное время подкашивайте сено, дрова возите, я отлучусь по делу.

На перекат вернулся только через три дня с перекинутыми через спину недавно приобретенного ишака мешками.

— Чевой-то привез? — спросила Матрена.

— Капканы — вот что, — весело сообщил Спира.

— Капканы? — поразилась Матрена.

— Конечно, не калачи сдобные, — наставительно-грубо ответил Спира. — Знаешь ли ты, баба неразумная, что такое капкан? Есть капкан — будет волк. А что такое волк? Это пятьсот рублей премии, сто рублей шкура да не меньше пяти овецек в награду с колхоза. А еще слава, почет. Нет, тут кумекать надо! — авторитетно закончил Спира.

На другой день он завел моторную лодку — и в приобский бор за хвойными ветками. Не успел вернуться домой, отдал распоряжение:

— Матрена, разводи огонь да котел приспособь побольше...

Матрена принялась налаживать таган, а Спира быстрехонько обтер грязь и ржавчину с капканов и сразу несколько штук в котел. На правую положил несколько пучков хвойных веток и пошла кипеть «каша». Спира суетится вокруг тагана, достает из котла то один, то другой капкан, нюхает, Матрене, Насте дает нюхать и снова опускает в бурлящую воду. Когда капканы окончательно выварились и от них был отбит запах железа, человека и человеческого жилья, Спира тщательно промыл хвойным наваром руки, натянул тоже прокипяченные с хвоей брезентовые рукавицы и сложил капканы в чистый мешок. До зимы капканы были подвешены в отдельном, в стороне стоящем шалаше.

— Теперь еще одно сделать, — объявил Спира, — кобеля хорошего подыскать...

Найти его было не так-то просто. Но Спира не был бы Спирой, если бы не добился своего.

— Доброго здоровьечка, хозяин с хозяйшккой, — застал он как-то бакенщика-пенсионера прямо на постели.

Старик без особого энтузиазма встретил раннего гостя, нехотя встал, охая от ломоты в пояснице, сухо спросил:

— Куда торопишься ни свет, ни заря?

— К вашей милости, люди-братья, — юлил Спира. — Кто рано встает, тому бог подает. Заботы спать не дают: христом-богом прошу —

уступи мне своего Вампира. Присмотрелся — борзой он у тебя, охотничий.

— Охотой заняться хочешь?

— Приходится как-то жить, — продолжал вертеться Жилин. — Место новое и жизнь новая.

— Ладно, — метнул жесткий взгляд старый бакеншик. — Собака у меня, верно, томится без дела, продам, больше тут охотников все равно нету...

Вампир — высокий, поджарый, длинномордый пес был на редкость смелым и сильным, хорошо брал не только зайца, лису, но и волка. Спиру он устраивал полностью, поэтому не стал даже рядиться: что хозяин спросил, то и отдал.

Когда собака была у него в руках, Спира троекратно перекрестился и воскликнул:

— Теперь бы скорее зимушка!..

Благодарением богу встретил Жилин наступление зимы. Сразу же наострил лыжи. Обтянул их телячьей кожей, чтобы лучше катились и отбивали посторонние запахи, укрепил ремни, надел заблаговременно припасенный маскировочный халат, вооружился увесистой клюшкой, сделанной из корня самого крепкого здешнего дерева — черемушника, позвал Вампира и давай линовать снежный целик. Целую неделю бродил по прилужью, по степи, добирался до предгорья.

На землях озерского колхоза Спира неожиданно набрел на скелет овцы, валявшийся в порыжевшем, пересохшем полыннике. Как он был рад находке! Слово это был не обглоданный волками скелет, а самородок золота.

— Ты видишь, Вампир, что мы с тобой отыскали? — ликовал Спира, тыча своим коротким пальцем в скелет. — Э, да и пир-то, видать, тут не шибко давно проходил: следы-то почти свежие. Должно, с фермы уперли...

И он стал внимательно, метр за метром ощупывать своими глазками-буравчиками утопанную поляну, определяя направление следов. Следы расходились в разные стороны, будто волки приходили и расходились каждый своим путем. Спира осмотрел место и, вспомнив рассказы озерцев, решил, что это и есть те самые волчьи гривы, которые названы так много лет назад. «Эвон какие тут песчаные надувы, ложбины, боярышник, полынь в рост человека — только волкам и хорониться», — отметил про себя Жилин.

— Я думаю, мы дураками себя не выкажем, Вампирчик, если оставим гривку калканчиками, — в блаженнейшем настроении разговаривал Спира с собакой. Вампир словно понимал речь хозяина, в ответ вилял хвостом и преданно совался длинной мордой в руки.

Спира определил наиболее вероятный квадрат подхода волка к скелету, сделал вываренной в хвойном растворе лопатой подкоп «под след» и аккуратно подвел калкан с сосновым чурбаком-потаском, который затем тщательно замуровал. Потом Спира нашел необходимым

выставить еще два капкана. Покончив с делами на гриве, направил лыжи к колхозной овцеферме и «заминировал» подходы там. В колхозе обрадовались, благодарили доброго человека, который вызвался избавиться от клыкастых «гостей», обещали, в случае удачи, хорошо заплатить.

Три дня просидел Спира в колхозе, даже не решился отлучиться к себе на пережат, все ждал, когда попадетсЯ волк. На четвертые сутки с рассветом встал на лыжи, взял свою спутницу — черемуховую клюшку, пристегнул поверх халата нож, позвал Вампира. До заветных волчьих грив домчался одним духом, огляделся и остолбенел: не было ни скелета, ни двух капканов! «Украдены. Или попались волки?» — молнией пронеслось в голове Спиры. Он начал лихорадочно действовать: ползал на четвереньках, отыскивал следы. Снег уже окреп, затвердел, трудно было что-либо разобрать. Но Спира все-таки обнаружил, что один капкан выворочен, а не выкопан, и след пошел в сторону гор.

— Вампир, искать! — приказал Спира.

Не отрывая носа от земли, Вампир повел Жилина на юго-запад. Спира едва попевал, то и дело осаживая вошедшего в азарт четвероногого помощника, напрягая зрение, ища глазами бредущего с капканом волка. «Должно, далеко ушел, ища проклятый!» — рассуждал сам с собой Спира, налегая на лыжи.

Ого, сколько уже отмахали, а волка все не видно! Неужели успел уйти в горы? Спира, задышавшийся от длительной погони, еле поднимался на пригорок, думал: «Сейчас отдохну, поднимусь и отдохну». И когда, наконец, вслед за Вампиром, который последние метры бежал с визгом, предчувствуя близость зверя, добрался до вершины, вдруг увидел удаляющегося с капканом волка.

— Вампир, взять!

И сам, как ловкий лыжник, стремительно покатился с пригорка. Расстояние сокращалось быстро, волк двигался медленно, волоча потаск. Спира сразу же опознал в пленнике «степняка» — огромного серо-бурого волка. По всему было видно, что зверь измотался, устал. Он даже был будто безразличен к преследователям. Это подстегнуло Спиру, и он еще раз скомандовал собаке:

— Взять!

Но волк достойно наказал пса. Поскуливая, он на несколько метров отлетел в сторону.

— А, так ты еще норы свой показывать! — расвирипел Спира. — Ладно же, клыкастое отродье, мы тебе покажем... Вампирчик, Вампир, — приласкал он трящегося после волчьего гостинца пса. — Не жмись, не трусь, бери его за хвост, а я долбану клюшкой по черепку...

Вампир, будто доподлинно понял слова хозяина, одним прыжком достал волка сзади, вцепился в хвост. Зверь только было стал разворачиваться, чтобы еще раз проучить неразумного пестолоя, как спереди подоспел Спира и с силой огрел волка черемуховой клюшкой. Удар по голове прозвучал глухо, как по кочану капусты. Огромный зверь ляг-

нул челюстями и, будто нехотя, повалился на бок. Спира знал, после его удара волк уже не пошевелится. Он быстро высвободил из капкана волчью лапу, немного отдохнул, потом ловко содрал шкуру и — в обратный путь.

— Где же другого волка искать? — думал Спира и с этим же вопросом несколько раз игриво обратился к бежавшему рядом Вампиру. — Найти нам его непременно необходимо...

В разговорах с собой да в радостных размышлениях об ожидаемых прибылях совсем не чувствовалась усталость, быстро скороталась длинная дорога.

— Вон и волчья гривы, — указывая на темневшую впереди полосу, вслух сообщил сам себе Спира. — Время еще рано, успеем отыскать и другого беглеца.

К своему удивлению, второго волка, ушедшего с капканом, Спира обнаружил совсем рядом с колхозной овцефермой. Этот попал обеими передними лапами, потому и не ушел далеко...

6

Кружится, пляшет метелица в пустынной степи. Змеится, тянет по открытым местам свой длинный белесый хвост поземка. А в полынных зарослях, в сухой траве шелестит, свищет, словно кого-то выгоняет и никак не может выгнать студеный ветер.

Легко скользят лыжи, весело бежит рядом верный пес, да и ветерок попутный. Но еще больше подгоняют Спиру первые удачи. Он держит путь в соседний предгорный район. «Там меня совсем никто не знает, меньше завистников будет...».

По берегам бойкой горной речушки — фермы: птичьи, овечьи, молочнотоварные. Есть что взять здесь оstromу волчьему зубу! И Спира...

Еще бросок, еще усилие — вот они и заветные места, где Спира еще накануне насторожил приваду и капканы... От его глаз не ускользнул осторожный, легкий след: ветвистый отпечаток на снегу — волчья лапа. Другой, пожалуй, ничего бы и не заметил: след путается, делает петли, ведет куда-то на юг, потом обратно, через речку, в камыш. А вот и след потаска, капельки крови, припорошенные снегом и напоминающие засохшие стружья.

— Ах, каналья, опять ушел! — не ругался, а петухом пел Спира от того, что в капкане добыча.

— Нет, брат Вампир, другим разом мы не так сделаем: вместо капканов испробуем отравленную приваду — чего это мы будем с ними в догоняшки играть. Ноги чай не казенные...

След сворачивает на болото. В шумящих зарослях осоки — кочки. Кажется, ничего, кроме кочек, не видно. Но вот впереди что-то зачернело, закопошилось. Это не кочка!.. Прихрамывая, раскачиваясь на лы-

жах из сторону в сторону, Спира не сводит глаз с живой точки и шаг за шагом настигает ее. Еще и еще раз всматривается в волка:

— Люди-братья!.. Да ведь волк-то не какой-нибудь, а полярный!.. Безмерная радость охватила Спиру. Да, это был ценнейший из породы волков, крайне редкое явление в здешних местах. По величине несколько не уступит степному. А уж красив — с длинным серым, даже чуть голубоватым волосяным покровом, с богатейшей подпушью. «Откуда ты взялся тут, волчок — серый бочок?» — ликовал в душе Спира.

Об одном Спира забыл: опасен полярный волк. И попался-то он, как на грех, левой задней лапой. Это облегчало его положение. Эх, ружьишко бы на этот случай! Ну да ничего, Жилин не сплешает.

Спира приостанавливается, переводит дыхание. Как рукой снимается игривое настроение. Меняется лицо, загораются алчностью глаза, он идет на добычу с черемуховой клюшкой прямо влобовую.

— Вампир, взять! — отпустил он собаку.

Волк молнией метнулся ей навстречу, и Вампир с распушенной вдоль спины кожей, окровавленный, летит в сторону. Спира пользуется моментом и бьет клюшкой, целясь в голову. Зверь ловко увертывается, клюшка ударяется о мерзлую кочку и разлетается пополам.

В ту же секунду черемуховый обломок, оставшийся в руках Спиры, оказывается в зубах серого и тот уже подбирается к рукам охотника. Спира хватается за нож, не выпуская из левой руки палки. А лобастая голова подбирается все ближе, ближе, кроша клыками черемушину.

Глаза волка налиты кровью, не мигают. Такими же лютыми глазами на него смотрит Спира. Он видит на загривке зверя каждую ворсинку, вздыбленную и подрагивающую. Тот и другой готовы к решительной схватке.

И вот — прыжок!..

Страшная, ощеренная пасть мелькнула перед глазами. Лязгнули, как стальные тиски, волчьи клыки. По горлу Спиры полоснула жгучая боль, но в ту же секунду под левую лопатку волка вошла финка...

— Как? — спросил сестру на утреннем обходе хирург районной больницы — высокий, худощавый старик.

— Горел, бредил... Все о капканах твердил, волчью шкуру требовал.

— Меня не стал признавать, — пожаловалась неотступно находившаяся около Спиры Матрена, едва сдерживая подступившие к горлу рыдания.

— Это пройдет, пройдет, — успокоил ее доктор.

Тут неожиданно очнулся Спира.

— Доктор! — сказал он требовательно. — Где капканы? Где мой волк?..

— Спокойно! Разговаривать нельзя!.. Никуда не денутся ваши капканы.

— А что мне молчать, я за свое, кровное... Ты лучше скажи, куда девали шкуру, кто взял мою волчью шкуру? Это же деньги... Премия!..

— Хоть бы уж тут помолчал! — с болью и нежностью в голосе посоветовала незамеченная Спирой Матрена. — Целы они, треклятые, капканы. И волк цел... Господи, неугомонный!..

Спира умолк, но все равно продолжал думать о том же. Не раны — капканы рвали на части его сердце; они же денег стоят. Ему хотелось немедленно вырваться из этих пропахших лекарствами стен и хоть одним глазом глянуть: как там — попался еще, нет?..

Через несколько дней Спира отказался от предписанного врачом срока лечения и выписался домой. Лихорадочно стал строчить письмо в технический участок бассейнового управления пути: «Как я есть бакенщик отдаленного переката и моя жизнь всегда в опасности среди зверья лютого, прошу вооружить меня казенным ружьем...»

Спира снова жил.

Н А Ш И
СОВРЕМЕННОКИ

Е. ШВЕЦОВА

СКАЗКА О ГАДКОМ УТЕНКЕ

О черк

- Алька, зачем ты в горы лазишь?
 - Сам не знаю зачем...
 - А все-таки?
 - Наверное потому, что оттуда дальше видно...
- (Из разговора с моим героем).*

Бумага, опущенная в проявитель, начала темнеть. Алька прополоскал ее в воде и опустил в другую ванночку:

— Го-о-ры! Смотри, смотри — Талгар! Пять тысяч и семнадцать метров! — подтолкнул он приятеля, с которым печатал снимки.

Перед глазами парней вставали то снежные вершины, то, видимо, зеленые луга, то альпинистские лагеря, то одинокие черные точки на фоне белого безмолвия.

Ребята печатали всю ночь, и Алька заново переживал недавно кончившееся лето, свое восхождение на Талгар, каждый шаг к которому, будто тень, имел свою предысторию здесь, на земле.

Предыстории были обычно грустные: они были всегда поражением. Зато, выбираясь из них,

Алька чувствовал себя победителем.

Под слоем проявителя на очередном листе бумаги возникли очертания вершин и Алька в белой штормовке среди них. Он стоит и улыбается. Улыбается потому, что высота взята, и все тучи теперь под ногами...

Последней тучей в его жизни был весенний зачет по оборудованию литейного производства. Алька принес доценту свои чертежи. Тот развернул их, пробежал глазами сверху вниз, потом помолчал, потом скривился и повернулся к студенту.

— Что за чушь вы изобразили? Да эта печь, вылепленная по вашим расчетам, вылетит в собственную трубу! Еще одно такое «рисование» и списать вас мож-

но: инженера-то не получится!

На этом зачет кончился. Домой Алька шел подавленный. Слонялся. Листал книжки. Слова «инженера не получится» крутились вокруг головы, как комар.

Ничего себе комплимент! И это в конце третьего курса! И, может, доцент вовсе и не предубежден? Просто сказал то, в чем уверен сам.

Весь вечер Алька молчал: матери и людям, в глазах которых ты не хочешь выглядеть неудачником, такие вещи не говорят.

Зашла соседка — студентка с шестого курса, медик. Он обрадовался ей — она хотя и видела его вечно насквозь, но никогда не смеялась. Поболтали немного, и он сказал ей про обидные слова доцента. Но соседка махнула рукой: ей тоже в школе не верили, что хирургом станет. А сегодня, между прочим, пятую операцию на практике сделала.

Соседка порылась в Алькиных книжках. Наткнулась неожиданно на ярко изданные детские сказки:

— Ты что, Андерсеном на досуге пробавляешься? — засмеялась она.

— Да не мои это, — буркнул Алька и продолжал безучастно смотреть за окно.

— Да ведь тут про тебя и про твоего доцента написано, — не унималась медичка. — Нет, ты только послушай: называется «Сказка о гадком утенке». А вот абзац про вас двоих и про твой повешенный нос. «Подбежавший к утенку белый пушистый брат больно и зло ущипнул его за шею. Утенок ничего не ответил и

поплелся за своими старшими братьями».

— Отстань, наконец, со своими глупыми сказками, — вдруг разозлился Алька. — Гадкого утенка какого-то выдумала!

Весенняя сессия застала Альку в проходной моторного завода.

— Нужны литейщики?

— Нужны, — оглядел его с ног до головы мастер. — Только унесешь ли ты наши «ковшички», парень? У нас механизации, так сказать, недостаточно и «ковшички» — штука тяжелая!

В литейный цех их пришло трое. Все из одной группы, все будущие литейщики. Первый ушел сразу: жарко! Как-никак в печи, у которой работали, бесновались 1400 градусов. Решил студент подождать диплома технолога — все дальше от печи.

Второй плюнул на «ковшички» дня через три: тяжесть дикая, особенно, когда разливаешь сталь по опокам. Вся нагрузка на одну руку — плечо просто отваливается. Да и вообще — как ее носить? Наклонишься вперед — обдаст таким жаром, что волосы задымятся. Назад откинешься — рабочие засмеют.

Алька продолжал разливать сталь. Домой шел покачиваясь, с красными воспаленными глазами, весь насквозь прокаленный. Заваливался спать и не вставал от смены до смены. И все-таки не мог понять парней — как можно учиться на литейщика и через день после работы у печи бежать от нее без оглядки, посылая ей проклятия?!

Прошли недели. Добровольная практика кончилась. Кончилась, будто сгорела дотла у раскаленной печи, и обида на доцента.

Да и вообще-то вспоминать о ней было некогда: наш сталевар мчался на вокзал в билетную кассу, за окошечком которой откровенно лето, горы, и облака под ногами!

Вечно у него так — не жизнь, а зигзаги какие-то! Вечно его кто-то в чем-то не признает. Впрочем, недавно пришла мысль, что люди правы, не признавая его: ведь признают обычно за что-то! А если еще не за что признавать? Тогда как?

С альпинизмом — давно, еще в школе, — тоже вначале пошло каким-то зигзагом.

Физрук не мог, конечно, ему, шестикласснику, сказать прямо: ты, Новоселов, мал и хил и не пугайся под ногами. Физрук был, прежде всего, педагог. Он сказал, что мест нет. А Новоселов все ходил и ходил на сборы будущих покорителей вершин. И глядел в глаза физруку. Вот уж когда он действительно был «гадким утенком»!

В последний раз перед походом собрались туристы в классе. Новоселов, конечно, сидел тут же, на последней парте. Физрук давал последние указания, а потом спросил, кто будет в походе фотографировать.

— Я, я! — завопил Алька.

— Я к туристам обращаюсь, — услышал он в ответ.

Но туристы молчали, а Новоселов ел глазами физрука...

Шли шестиклассники по трудным забайкальским лесам, топям.

Если всем болото приходилось по пояс — Альке по плечи. Но выкарабкивался он сам и еще кого-нибудь вытянуть успевал.

Осенью на первом уроке физкультуры физрук, вспоминая поход, сказал, что самым выносливым в классе считает Олега Новоселова.

Было это так давно! А сейчас сидит он в своей маленькой комнатке за собственноручно изготовленным (современным!) столом, на собственноручном («стильном») кресле и под звуки собственноручного (типа «Рига») приемника вычисляет, сколько чего надо засыпать в сушильную печь, чтобы для этого ей понадобилось столько-то кислорода и столько-то еще каких-то веществ.

Я сижу рядом и листаю случайно попавшую под руку его альпинистскую книжку, где после каждого восхождения есть краткая характеристика. «Новоселов О. П. — тренирован, вынослив, однако несколько горяч». Неправда! Скорее несколько спокоен. Хотя, может, и горяч: зимой ни одной отвесной горы в бору не пропустит, чтобы не кинуться с нее на лыжах раз-другой.

Листаю дальше: «Пользуется авторитетом среди товарищей».

— А это как удалось выявить?

Алька принимает мой вопрос всерьез.

— Да на Каракольских озерах. Ночью на лыжах спускался к отставшим. Нашел. Оттер их спиртом. Склон был отвесный и весь в соснах. Тогда еще об угол скалы грохнулся: лыжи ничего, а часы рассыпались. Сейчас вот и занимаюсь с будильником. Так

сколько же кислорода потребуется для моей распрекрасной сушилки?..

В тот вечер не досчитал Алька про кислород. Торопился на заседание студенческого научного общества. После моторного он особенно пристрастился к этим «внеклассным» занятиям, после того, как почувствовал у печи «вкус стали». Да и зачетка будто посветлела — все меньше длинных «удовлетворительно», все больше коротких «отл.».

А на заседаниях общества и правда интересно, потому что все работы связаны с заводом. Их семерка, например, долго мудрила над заменой дорогостоящих материалов, применяемых в литейных цехах, местными, более дешевыми и экономичными. Скоро предстоит самое интересное — внедрение на заводе.

Рядом с будильником два рулона чертежей, два справочника по металлведению, а под ними, неизвестно как здесь оказавшийся, коричневый том с золотым тиснением. Из середины торчит белая заложка.

А ведь на первых курсах, изучая марксизм, он все норовил обойтись кратким философским словарем, где все ясно и... коротко. И как-то раз, готовясь к сдаче по историческому материализму, открыл один из тридцати пяти коричневых томов и не сразу оторвался — так потрясла логика и бездонная глубина писавшего!

А потом, на кухне альплагеря среди чистивших картошку разгорелся спор — будет ли семья при

коммунизме? Сначала казалось, что тут все ясно и спорить не о чем. Но...

— Семья — ячейка государства, — процитировала одна «подкованная» альпинистка.

— Да, но государства-то при коммунизме не будет, — вспомнил Алька и тут же запнулся. Что за ахинея? Семья будет — в этом он не сомневался. Государство со временем отомрет — об этом говорит марксизм. А как же с «ячейкой»?

Дома Алька развернул конспекты, нашел нужный том и вот сейчас откроет нужную страницу, прочтет еще раз и... и уж тогда сразится с «подкованной» альпинисткой...

Интересное это занятие — идти вверх! Сделаешь даже маленький шагок — а видно уже далеко. Пошире шагнешь — будто солнце из-за горы вылезет и столько невидимого раньше осветит, что успевай, раскапывай, бери! Это во всем так — и в металлургии, и в спорте, и в литературе, и вот в этом разговоре про коммунизм.

О коммунизме люди вообще сейчас говорят часто. Наверное, оттого, что верят в него. И каждый говорит о нем по-своему.

Мать Альки тоже выразила недавно свое мнение на этот счет. Она сказала о своем сыне, который воду носит и печку перекладывает, крышу чинит и колет дрова, полет летом грядки и метет зимой двор, она сказала о нем, что если бы все такие были, то «коммунизм бы легче было построить, так как не тратили бы люди время на воспитание всяких хулиганов».

Что ж, матери всегда свой сын кажется непохожим на «всяких». А вот меня увлекает в Альке постоянное стремление вверх, полет какой-то. У меня захватывает дух от его немного одноцветных рассказов. Вот с трудом ползет он по ледяному склону к безмолвной вершине; вот гора, представляющая ему живым великаном, остается все дальше внизу; вот он мчит ночью с головокружитель-

ной быстротой на сигналы отставших ребят; вот на острие его альпинистского ледоруба вспыхнул неверный ореол «огней святого Эльма».

И когда он рассказывает обо всем этом, я вспоминаю сказку о гадком утенке и, не выдерживая, перебиваю его:

— Не дразни! Хватит! Я тоже хочу в горы!

Электронная библиотека АКУНЬ, елбашки.рф

Л Ю Д И
НЕОБЫЧНОЙ
СУДЬБЫ

Л. Квин

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ

Это случилось не в развалинах старой крепости, не на скучанной синей дымкой лесистой сопке, не в каком-нибудь другом романтическом месте, где и полагалось бы встретиться с легендой.

Эта встреча произошла в прозаическом кабинете директора Бийской мебельной фабрики номер три. Разговор, который шел у меня с директором фабрики тов. Ноябревым тоже носил сугубо прозаический характер: план, проценты, новые образцы мебели.

В дверь постучали. Вошел небольшого роста сухонький старичок с аккуратно расчесанной на две стороны седой бородкой.

Директор представил его: начальник обойного цеха. Фамилии я не расслышал, как это нередко бывает при знакомствах. Зато про себя поразился другому: старичок держался удивительно прямо, и рукопожатие у него было не по возрасту крепким.

Начальник цеха что-то спросил у директора и вышел.

— Семьдесят лет! — посмотрел ему вслед директор. — А выправка! Вдвали! Кавалерист, кочубеевец, ничего не скажешь!

— Кочубеевец?

— А как же! Рой — вы, наверное, слышали. Начальник штаба бригады Кочубея. Андрей Рой.

Я не поверил.

— Вы ошибаетесь. Рой погиб. И в книге, и в фильме... Помните, рука бесильно опускает подкову, подаренную Натальей на счастье.

Директор усмехнулся.

— Не знаю, как там насчет подковы, но только Рой жив. Это он!..

Через несколько часов я уже сидел на квартире у Андрея Елистратовича Роя. Он рассказывал сначала скупо, немногословно. Но постепенно воспоминания захватили его.

— Родители мои бывшие крепостные Черниговской губернии. В семье двенадцать детей. Все мы знали и голод и холод. В один из неурожайных годов отец решил переехать на Кубань. Нанялся столяром на станцию Минеральные Воды. Я, как увидел паровоз, решил: буду машинистом! И стал! В одиннадцатом году окончил железнодорожное училище. Сначала, как полагалось, поработал помощником машиниста, а потом произвели в машинисты. Через два года мне уже доверяли вождение скорых поездов. Не шутка! Ведь мне тогда и двадцати еще не было.

Однажды веду поезд. Ночь. Туман. Вдруг впереди, на рельсах, что-то черное. Растет, растет... Даю экстренное торможение. Оказывается, подвода с дрoвами. Застрjala между рельсами и ни туда, ни сюда. Быть бы крушению!

Из вагонов пассажиры повысыпали. Господа, дамы — кто тогда в скором ездил. И... давай ругать меня: водить не умеешь, с верхних полок чемоданы высыпались, какой-то важный чиновник в спальном вагоне шишку набил.

Такая злость меня взяла... Ушел с паровоза. Стал работать дежурным по станции, телеграфистом.

Началась мировая война. Меня направили на казачий счет в Киевское кавалерийское училище. Кончил с отличием и в звании корнета попал на фронт — в «дикую дивизию».

Это была дивизия особого рода. Командовал ею брат царя, великий князь Михаил Романов. А «дикий» она называлась потому, что в состав ее набирали, главным образом, горцев: ингушей, кабардинцев, дагестанцев, лезгин...

Тут, в дивизии, я прошел боевую школу. Рубались мы, главным образом, с австрийскими конниками. Мне повезло: обошелся без серьезных ранений. А в начале семнадцатого года вместе со своим эскадронном захватил в плен штаб австрийского полка. Сделали меня за это полным георгиевским кавалером и произвели, минуя один чин, в казачьи есаулы — старшее офицерское звание. Пришлось бороду отпустить для солидности: кругом все с густыми черными бородами, а есаул безбородый.

Октябрьская революция застала меня дома, на Кубани — я получил отпуск и гостил у родных. Надо было определяться: с кем я? А положение у меня, надо сказать, было двойственным — революция была моей, кровной — у меня ведь закваска рабочая. Но, с другой стороны, как казачий офицер, я вызывал недоверие у революционных масс и очень это переживал.

В дивизию я больше не вернулся. К белым не пошел, но и к красным тоже не примкнул. Скитался по станицам — по родным, по знакомым.

И вот в это трудное для меня время в станице Пластуновской произошла моя встреча с Иваном Кочубеем.

Кочубеевские хлопцы захватили станицу. Кто-то сказал им про меня. Пришли в хату, где я жил.

— Офицер?

— Офицер.

— Еще царские кресты нацепил! Скидай!

— Не скину! Не царь дал, сам взял...

Слово за слово. Схватили меня, потащили к батьке Кочубею.

Стоим мы друг против друга. Ему, хоть он и батька, двадцать пять. Мне тоже двадцать пять. Он горяч. Я тоже.

— Чин?

— Есаул.

— Беляк?

— Нет.

— Брешьешь!

— Пес брешет.

— Заколю!

— Коли.

— Ведовый...

И вдруг совсем неожиданное:

— Пойдешь до меня начальником штаба?

Я раздумывал недолго.

— Что не пойти? Пойду!

— Зачислить до части, поставить на довольствие...

Так я стал начальником штаба партизанского отряда, а потом бригады Ивана Кочубея.

Конечно, вначале мне не доверяли. Рядом со мной в бою почему-то всегда оказывался ординарец Кочубея Ахмед, славившийся своей лихостью и меткостью. Я не обижался: офицеры, особенно казачьи, редко искренне переходили на сторону революции.

В то время отряд был еще небольшим: около сотни сабель и один станковый

пулемет. Но хлопцы были отчаянно смелыми рубаками и нередко обрушивались на значительно большие силы белоказанов. Помню такой случай. Нас обложила полукольцом белоказачья часть. Можно было отступить. Но Кочубей принял другое решение: атаковать. Мне пришла в голову удачная мысль: сделать несколько деревянных трещеток, наподобие тех, какими отпугивали воров ночные сторожа. Раздали трещетки хлопцам на флангах. А наш единственный «Максим» поместили в центре, на безрессорной линейке — тачанок тогда у нас еще не было.

Пошли в атаку. Наши «пулеметы» подняли такой треск, что противник не выдержал, исполошился, стал срочно перегруппировываться, усилия фланги. А мы прорвались в центре.

Мало-помалу завоевывалось доверие. Ахмед во время боя уже не держался рядом со мной. Но кое у кого еще оставалось настороженное отношение ко мне. Новый «кризис доверия» возник, когда однажды в ночном бою мы взяли в плен много казанов-деникинцев, больше сотни, и стали решать, как с ними быть.

Чего греха таить, нашлись и такие, которые предлагали всех расстрелять. Ведь наших хлопцев деникинцы расстреливали, не размышляя, да еще к тому же перед расстрелом зверски мучили. Так почему же дарить жизнь этим?

Я предложил другое: помыть всех в бане, выдать чистое белье из наших запасов, накормить досыта и отпустить на все четыре стороны.

Поднялся шум:

— Рой своих выручить хочет!

Но Кочубей понял мой замысел, и, несмотря на недовольство некоторых командиров, построил пленных и скомандовал:

— Кто хочет к батьке Кочубею — налево. Кто до дому — направо.

И отпустил подобру-поздорову всех «правых».

Весть о случившемся с быстротой молнии разнеслась по казачьим станицам. Нас повсюду стали встречать с радостью, у нас появилось множество новых друзей и доброжелателей. А из белогвардейских частей потянулись вереницы перебежчиков. Теперь уже деникинская пропаганда о том, что «красные в плен не берут» мало кого пугала.

Но полное доверие всех товарищей по бригаде я завоевал после известного случая с Кочубеем, когда его хитростью пытались заполучить для расправы в штаб изменника Сорокина. Все это происходило не совсем так, как описано в книге и показано в фильме «Кочубей». Там, если вы помните, кочубеевцы выручают своего командира, вытаскивая его через окно вагона на ходу поезда, после того, как он подает условный знак.

На самом же деле все было и проще и сложнее. Кочубея вызвали в штаб армии. Вызов обычный, никто ничего особенного в нем не усмотрел. Кочубей уехал, и лишь позднее мы получили известие, что он арестован и сидит под охраной на одной из железнодорожных станций по пути в Пятигорск.

В бригаде все возмутились. Но как выручить командира? Не сниматься же всей бригадой с фронта!

Посадили я на паровоз несколько десятков хлопцев и покатил к Пятигорску, еще не имея даже определенного плана.

Помог случай. На подступы к станции, где сидел под арестом Кочубей, какими-то неведомыми путями войны занесло белый бронепоезд. Мы на своем паровозе обязательно наскочили бы на него, но, спасибо, железнодорожники вовремя предупредили. Разработали на скорую руку план дерзкой операции. Раздобыли погоны, я нацелил на грудь своих «георгиев» и пошел строем к бронепоезду. Проникли хитростью в штабной вагон, а оттуда по телефону распорядились о «смене» постов у орудий и пулеметов...

На станции мы вкатили на захваченном бронепоезде. Навели орудия на вокзал. Молодчики из личной охраны Сорокина, видя такое дело, спорить долго не стали, быстрехонько освободили Кочубея.

И снова бой, бой... Пришлось изведать и радость побед, и горечь отступления. И, наконец, трагедия под Астраханью в марте 1919 года, когда бригада Кочубея после тяжелого отступления была разоружена своими же, красными.

— Кто же отдал такой приказ? — поинтересовался я.
Андрей Елистратович нахмурил брови над своими не по-стариковски ясными и острыми глазами.

— Не знаю. Не то изменник, не то круглый дурак... Мы, руководство бригады во главе с Кочубеем, решили пробиться в Прикумье, поднять там людей, организовать партизанский отряд. Не получилось. Напоролись в степи, обессилевшие, голодные, на бетоказачий разъезд. Больного Кочубея захватили, мне и Добрышину, бойцу бригады, удалось ускользнуть в темноте.

— А вас ведь считали убитым, — сказал я.

— Вот уж не знаю, как меня зачислили в мертвые. Ведь я не исчез без вести, не пропал. Чуть позднее принимал участие в формировании 7-ой кавалерийской дивизии в должности помощника начдива, участвовал в боях, одно время исполнял обязанности начдива седьмой... Кстати, намного позднее, во время Великой Отечественной войны одним из эскадронов этой дивизии командовал мой сын Евгений.

— Где он теперь?

— Нет его. Погиб во время боев за Киев...

— А после гражданской войны как сложилась ваша судьба? — нарушил я молчание.

— В 1922 году меня направили, как специалиста, на железнодорожный транспорт. Работал на станциях Минеральные Воды, Махачкала, Дербент. Был маневровым диспетчером, заместителем начальника станции. А потом... Потом пришла большая беда. В тридцать седьмом году меня, как и многих, оклеветали, несправедливо обвинили в антинародной деятельности, посадили. Долго был в лагере, на севере. Потом выпустили. Приехал сюда, в Бийск... Тружусь вот на фабрике.

— И как работаете? — спросил я. — Ведь все-таки возраст...

— Ничего! Возраст не помеха. Как-никак первенство по фабрике держим. А фабрика в крае передовая.

Андрей Елистратович с гордостью тронул значок, прикрепленный к карману пиджака.

И только сейчас я обратил внимание на этот маленький скромный значок. Признаюсь, он поразил меня, оказался глубоко символичным. Судите сами: значок отличника социалистического соревнования, активного строителя коммунизма, на груди у героя гражданской войны — разве это не самое прекрасное продолжение удивительной легенды!

СОВРЕМЕННОК ГРОЗНОГО АТТИЛЫ

Могущественного предводителя гуннов Аттилу средневековые хронисты называют «потрясателем народов» и «бичом божьим». Объединив под своей властью разрозненные орды гуннов, Аттила подчинил многочисленные племена германцев и славян и создал великую, хотя и внутренне непрочную державу. Гордый Рим трепетал от страха перед жестоким владыкой гуннов. Образ Аттилы создан известным русским поэтом В. Брюсовым. С детства врезались в память чеканные строчки его стихов:

«Нем и мрачен, как могила,
Едет гуннов царь Аттила...».

На одном из рисунков дореволюционного художника Аттила изображен верхом на аргамеке, вся сбруя которого сияет дорогими украшениями. Аттила сидит в седле цепко, несколько пригнувшись вперед. Из-под опущенной шапки с высокой конической тульей еле видны узкие щелочки глаз, широкие скулы, ослабленный рот. Правой рукой он держит копьё, а левой натягивает повод. На правом боку его висит меч, слева — кривой кинжал и пучок стрел, за спиной виднеется лук, а на груди роскошный фалар — воинский знак. Под ноги коню свалено оружие пленных воинов: круглый щит и короткий меч римского легионера, боевая секира франка и шестопер славянина.

Опустошительным смерчем пронеслись орды гуннов по Европе в середине V века новой эры, грабя различные народы и племена и проливая потоки крови. Во время генеральной битвы между гуннами и римлянами с их союзниками, развернувшейся в 451 году на Каталаунских полях, если верить средневековым историкам, ручей, пересекавший равнину, «широко разлился от крови, струившейся из ран сраженных».

* Иордан. «Гетика».

Когда Атила умер, тело его, по словам Иордана, положили в три гроба — золотой, серебряный и железный. В могилу поместили «взятое в сражениях оружие врагов, фалары, драгоценные от разнообразного блистания камней, и различные родовые инсигнии, которые считались дворцовым украшением». Похороны Аттилы были совершены в глубокой тайне, ночью. Занятые в погребальных работах и обрядах рабы и пленные были поголовно перебиты, «дабы от таких богатств человеческое любопытство было отстранено». И до сих пор погребение Аттилы не найдено, несмотря на энергичные поиски могилы венгерскими археологами, хотя известно, что оно находится где-то в верховьях Тиссы.

...Полторы тысячи лет отделяет нас от времен Аттилы, от «эпохи великого переселения народов», толчок которому дали двинувшиеся с Волги на Запад гунны. Массовые передвижения варварских племен происходили тогда по всей Европе и по Северной Африке. Но на всей этой огромной территории от Бискайского залива и до Урала археологи обнаружили всего лишь около трех-четырех десятков богатых, так называемых княжеских, захоронений этой эпохи, хотя археологическое изучение Европы длится уже около двухсот лет.

За пределами Европы «княжеские могилы» были найдены лишь в двух местах — в Кара-Агаче и на оз. Боровом (Северовосточный Казахстан). Восточнее Ишима подобных захоронений до недавних дней не встречалось.

И вот в один из июньских дней 1959 года в конторе краевого музея раздался продолжительный телефонный звонок. Звонили из Белоглазово. Заместитель председателя райисполкома сообщил директору музея об удивительной находке рабочих Тугозвоновского кирпичного завода. В глиняном карьере они наткнулись на кости человека, среди которых оказались различные предметы, в том числе золотые украшения.

Работа в карьере была приостановлена. В Белоглазово спешно выехала группа сотрудников музея во главе с автором этих строк.

К сожалению, к нашему приезду многие из найденных предметов серьезно пострадали от неумеренного любопытства и неосторожного обращения с ними находчиков. Тем не менее, основная часть вещей была сохранена.

По рассказам очевидцев, никакой курганной насыпи над могилой не было. Каких-либо сооружений над погребенным или вокруг скелета, то есть внутри погребения, камней или остатков дерева рабочие не заметили.

Ничего они не могли сказать и о том, были ли найдены кости животных, например лошади. Скелет человека лежал так, что было ясно: умершего положили головой на восток в вытянутом положении. На черепе кое-где был замечен зеленый тлен толстой ткани.

Нам удалось собрать ряд предметов, находившихся на руках — серьгу-подвеску, навершие рукояти палаша, обувные пряжки, ремешковые бляшки, часть золотой гривны и др.

Тщательно обследовав место находки, мы обнаружили в пределах могильной ямы еще ряд предметов, важных для датировки древнего захоронения — костяные и железные наконечники стрел, бляшки, обломки ножа и т. д.

Кости скелета сохранились хорошо: мощный слой глины, покрывавший погребение сверху, и хорошо задернованный склон, на котором не задерживалась вода, предохранили их от быстрого разрушения.

Скелет был ориентирован головой на восток-юго-восток, лежал на спине. Бросалась в глаза необычная форма черепа: он был сильно вытянут вверх и назад в затылочной части, наподобие огурца, отчего лоб был скошен назад. Было ясно, что эта деформация искусственная, прижизненная.

В непосредственной близости от могилы никаких других захоронений не оказалось. Более широко поставить раскопочные работы нам не удалось.

Таковы были непосредственные результаты работы нашей группы на месте находки.

В результате длительного изучения находки было установлено, что в могиле, случайно раскопанной близ Тугозвонovo, был похоронен современник прозного Аттилы! Конечно, захоронения IV—V веков н. э. были известны на Алтае после раскопок М. П. Грязнова на Ближних Елбанах (Топчихинский район) в 1946—49 гг. Но они принадлежат рядовым представителям бедного племени охотников и рыболовов. Тугозвоновское погребение по богатству инвентаря не может идти ни в какое сравнение с ними. В нем был погребен богатый и знатный человек, по всей видимости, предводитель какого-то племени.

Но не будем забегать вперед.

Попытаемся представить, как выглядел при жизни этот человек в том снаряжении и убранстве, в котором он был предан земле.

Это был физически крепкий и сильный мужчина высокого роста (выше 1,8 м.). Смерть застала его в расцвете сил, в возрасте около 40 лет. Неизвестно, пал ли он на поле битвы или умер от болезни. Его странно вытянутая голова была покрыта высокой шапкой, из-под которой виднелась повязка, наложенная через лоб и затылок вокруг головы*. В мочке левого уха владыки племени болталась крупная золотая серьга-подвеска, украшенная вставкой сердолика. На пальце левой руки красовался золотой перстень, сиявший драгоценным алмандином.

Богатую шелковую одежду вождя стягивал нарядный пояс, унизанный золотыми и серебряными бляхами. Щиток серебряной поясной пряжки был окован золотом и украшен алмадинами.

На поясе, спереди, висел железный нож с рукоятью, отделанной костью и позолоченными серебряными пластинами. С левой стороны

* Ткань, вероятно, была окрашена не в зеленый, а в красный цвет, утраченный в земле. Такие случаи известны археологам. Кстати, гунны носили обычно повязки из ткани красного цвета.

на узком ремешке был подвешен кинжал в серебряных с позолотой ножнах и золотым навершием рукояти, справа — роскошный палаш, блестящий золотыми оковками рукояти и серебряными обкладками ножен.

Шею вождя украшали две гривны: золотая и позолоченная серебряная. Каждая из них представляла собою согнутый кольцом прут, концы которого выполнены в виде звериных голов.

За спиной его, на ремнях, украшенных круглыми серебряными бляхами, висел кожаный горит, в котором лежал тугой лук с костяными накладками поперек дерева, и кожаный колчан, густо набитый стрелами.

Мягкие бескаблучные кожаные сапоги предводителя племени по щиколотке стягивали ремешки, застегнутые серебряными пряжечками, окованными золотом.

Приблизительно так выглядел племенной владыка при жизни. При похоронах его все вещи, которыми он пользовался или носил, были положены вместе с ним в могилу. Древние верили в загробную жизнь, и рисуя ее по образу земной, реальной жизни, стремились снабжать умерших всем, что, по их представлениям, было необходимо в потустороннем мире. Рядового охотника или рыболова хоронили в сопровождении охотничьего лука, стрел и рыболовных крючков, а вождя племени — со всеми атрибутами предводителя и военачальника.

Почему же этот человек, останки которого найдены в карьере, был похоронен на ничем не примечательном мысе? Почему над его могилкой не оказалось высокой насыпи, как это было принято делать у скифов, савромагов, скотоводческих племен Алтая?

Дело в том, что богатые могилы эпохи IV—V вв. н. э. вообще не имеют курганных насыпей, так как родственники умерших стремились сохранить в тайне место погребения, во избежание его разграбления. Известно, что с этой целью могилы иногда выкапывали в ложах небольших рек. Так, когда хоронили короля вестготов Алариха, разрушившего и разграбившего в 410 году н. э. Рим, река Бузенто была отведена в сторону. В ложе ее выкопали могилу. Вместе с Аларихом в могилу положили много драгоценностей. Затем, закопав могильную яму, вернули реку в прежнее русло, а рабов, занятых на похоронах, поголовно всех перебили. Так хоронили и других варварских князей. Археологи называют такие погребения «речными».

Впрочем, есть и другое объяснение природы «речных погребений». Советский ученый Л. А. Мацулевич высказал мнение, что этот погребальный обряд связан с особым почитанием водной стихии. В подтверждение своей точки зрения Мацулевич ссылался на примеры из жизни ряда отсталых и бедных африканских племен. До недавнего времени вожди племени балуба (Конго) хоронили в ямах, выкопанных в болоте. На поверхности болота при этом соплеменники не воздвигали никаких сооружений, только на сухом берегу напротив места погребения делали памятный знак.

Давно известно, что богатство и пышность убранства одежды и дворцов повелителей с глубокой древности имели своей целью подчеркивать власть и могущество владельцев. Полны были сокровищ и их загробные жилища — пирамиды и гробницы фараонов (вспомните гробницу Тутанхамона!), курганы скифских царей и могилы варварских князей «эпохи великого переселения народов». И в ином мире эти богатства были призваны рекламировать величие, всемогущество титулованных мертвецов.

Конечно, вождю из Тугозвново далеко до Тутанхамона, но тем не менее, в его погребении найдено немало предметов, сделанных из драгоценных металлов, к тому же украшенных камнями-самоцветами. Это самое богатое захоронение из всех, раскопанных на Алтае за годы Советской власти. В самом деле, только сохранившаяся часть гривны, отлитой из золота, весит около 320 граммов! А ведь, кроме гривны, здесь найдено немало других золотых и серебряных изделий. Наша находка по разнообразию предметов и материалов, по весу благородных металлов и ряду других моментов богаче многих аналогичных находок Европы.

Предметы, найденные в могиле вождя в Тугозвново, по своей абсолютной и, главное, историко-художественной ценности заслуживают того, чтобы остановиться на них подробнее.

Начнем с золотой гривны. Длина ее около 42 см., толщина прута 6—7 мм. Оба конца ее выполнены в виде головок хищного зверя с торчащими ушами и сомкнутой пастью. На первый взгляд их можно принять за головы хищных кошек (тигра, барса) или хищников из семейства собачьих (волка). Но на самом деле это не то и не другое: в реальной фауне нет таких зверей. Это головы мифического чудовища — ушатого львиного грифона.

Львиный грифон был в древности излюбленным сюжетом художников Передней и Центральной Азии. Если смотреть на гривну сверху, головки зверя покажутся прямо-таки львиными. Но известно, что у льва уши короткие. Длинные уши головок гривны — это уже от грифона. Гривны с фигурками и головками ушатых и львиных грифонов, известных в искусстве гунно-сарматского мира, можно видеть в знаменитой Сибирской коллекции Петра I, хранящейся в Государственном Эрмитаже (Ленинград).

Тугозвновская гривна отлита в форме, а затем доработана зубильцем, пунсоном. Мастер стремился подчеркнуть главное в облике мифического чудовища: мощную пасть, большие глаза, длинные уши, крупный нос, хотя в целом голова трактована схематично.

Гривна была не только украшением, она играла магическую роль оберега, призванного охранять своего владельца от любой опасности. Поэтому-то настороженно торчат большие уши грифона, широко раскрыты огромные глаза, раздуты ноздри крупного носа: оберег должен вовремя заметить любую опасность, откуда бы она ни исходила. Мощная пасть призвана устрашать и наказывать враждебные силы.

Другая гривна была сделана иначе. Железный прут был обернут сверху позолоченной серебряной жостью. От гривны сохранился лишь один конец, выполненный в виде головы волка. Волк изображен в явно угрожающем виде: уши его прижаты, шерсть на загривке вздыбилась, пасть оскалена. Здесь мы, очевидно, имеем дело с так называемым тотемом, животным-предком. На ранней ступени развития человеческого общества господствовала система религиозных воззрений, выводящая происхождение отдельных родоплеменных групп от разных животных и растительных предков (тотемов). Пережитки тотемизма отмечались у многих народов еще на стадии распада родового строя. В частности, древние римляне, гунны (хунну), жившие в Центральной Азии, и тюрки-тугу, обитавшие на Алтае, считали своей прародительницей волчицу. Именно поэтому волчьи хвосты служили бунчуками тюркских военачальников, а штандарты тюркских каганов были украшены золотым изображением волчьей головы.

Можно думать, что если грифоны оберегали вождя из Тугозвонковского погребения от сверхестественных, мифических сил, то волки играли такую же роль хранителей от реальных сил природы — хищных животных.

Голова волка сделана руками точного и искусного мастера, хорошо знавшего натуру. Изображение глубоко реалистично, только по понятным причинам несколько гиперболизированы зубы. Мастер детально проработал глаза, нос, губы, зубы, уши, даже шерсть на загривке. Каждая деталь при этом как бы подчеркивает глубокую динамику образа, придавая ему исключительную выразительность.

С тех пор, как войны стали частым явлением в жизни общества, появился обычай класть в могилу воина (а воином в эту эпоху был каждый мужчина) его оружие: он должен защищаться на «том свете» от врагов. Вождь из тугозвонковского карьера был вооружен, что называется «до зубов»: с ним был не только лук и колчан с тремя десятками стрел, но и оружие ближнего боя — палаш, кинжал, нож.

По мере складывания касты профессиональных воинов и мастеров-оружейников, все больше внимания уделяется не только боевым качествам оружия, но и его внешнему виду. Кузнечное дело превращается в кузнечно-ювелирное искусство.

Подлинными произведениями кузнечно-ювелирного искусства можно с полным правом считать, в частности, палаш и кинжал из тугозвонковской находки.

Однолезвийный палаш достигал в длину около метра. (К сожалению, нам не совсем ясны детали его крепления к поясу, а также не известно, имелось ли у него перекрестье).

Ножны палаша были деревянными, перехваченными в нескольких местах узенькими полосками золотых оковок. Верхняя половина ножен покрашена красной краской (вероятно, охрой), а нижняя окована листовым серебром.

Ножны богато украшены и отделаны, но максимум внимания мастер уделил отделке рукояти палаша. Он оковал ее листовым золотом. Правда, надо заметить, что оковки крепятся на деревянных обкладках рукояти довольно примитивно: золотыми гвоздиками, прошивающими оба образа оковок.

Все три оковки рукояти украшены рядами гнезд, окруженных зернью — рядками припаянных мелких золотых шариков. В гнезда инкрустированы крашенная паста, цветные и драгоценные камни (хризолит, полированный альмандин).

Третья снизу оковка имеет вид составленных вершинами двух конусов. Она густо усеяна мелкими гнездами. Гнезда заполнены хризолитом и красной пастой, имитировавшей альмандину.

Над верхней оковкой был проложен диск из белой мастики, а над ним уже крепилось золотое навершие рукояти, имевшее форму полусферы.

В первоначальном своем виде палаш был очень наряден. Он так и сиял золотыми и серебряными оковками, сверкал дорогими камнями. Скорее всего, это был парадный палаш.

Кинжал сохранился хуже палаша, но и по его остаткам можно судить о том, сколько кропотливого труда, сколько подлинного мастерства было вложено в его создание.

От рукояти кинжала сохранилось лишь навершие — золотая пластинка овальной формы, с крупным гнездом в центре. Гнездо окружено, как обычно, рядом зерни, а в него вставлен красный камень — сердолик. Ножны кинжала серебряные, покрыты позолотой. Лицевая сторона их вырезана «окнами». Поверх деревянной окладки ножен «окна» заполнены белой мастикой, имитирующей, очевидно, слоновую кость. Интересно, что в верхнем «окошечке» мастика покрыта сверху тончайшей серебряной фольгой. Вокруг «окон» и на «переплетах» напаяны гнезда, в которые по золотой фольге вставлены прямоугольные кусочки альмандина. Альмандинами также украшена пряжечка с длинным изогнутым язычком, припаянная к ножнам: с ее помощью кинжал подвешивался на ремешке к поясу.

На нижнем конце ножен припаяна пара колесовидных украшений с рубчатыми ободками. Каждая из них поделена перегородками на четыре сектора. В образованные таким образом гнезда по золотой фольге вставлены альмандины.

Рукоять кинжала, видимо, была обложена костяными пластинами.

Обыденное орудие труда — железный нож не столь наряден, сколь палаш или кинжал. Он был однолезвийным, причем лезвие заметно износилось от долгого употребления. Рукоять ножа отделана с обоих концов парными серебряными пластинками, а в середине — костью. Серебряные пластинки украшены позолоченными розетками.

Интересен по своей форме перстень. Щиток и кольцо у него серебряные, а шатон золотой. Шатон имеет форму растянутой в стороны полусферы. Снаружи шатон производит впечатление массивного, но внутри

он полый. Своим основанием он припаян к краю щитка. Снаружи основание шатона обрамлено рядом крупных зернышек. В центре его — гнездо, в которое вправлен альмандин. Шесть гнезд, окружающих его, инкрустированы синим камнем и цветной пастой. И, конечно, все гнезда обрамлены поясами зерни. Заметьте, что общее число гнезд на шатоне — семь. Это число в древности и в средние века считалось священным, магическим.

Замечательна и серьга-подвеска. Ее щиток, подвижная застежка и все обрамление щитка сделаны из золота. В щиток вправлен крупный сердолик овальной формы. Во все стороны от щитка отходят, подобно лучам, гофрированные трубочки, каждая из которых увенчивается пирамидкой из зерни.

Нарядны и пряжка поясного ремня, обе сапожные пряжки, отличающиеся от поясной только меньшими размерами. На щитках пряжек — гнезда полукруглой формы со вставками альмандина, веревки, напаянная по краю, и зернь.

Так же выполнены две прямоугольные наременные бляшки, снабженные секироподобными шарнирными привесками. Они тоже сделаны из серебра, но окованы золотом.

Наряду с этими оковками в погребении были найдены еще три таких же по форме накладки, но уже без привесок и без золотой отделки, причем одна из них явно местной, грубой работы.

Из других предметов заслуживают внимания круглые серебряные бляшки. Их насчитывается 25 штук*. Бляшки украшали ремни снаряжения.

Из бронзовых изделий нужно отметить широкую накладку на ремень (в том месте, где к нему подвешивали палаш), обломки узких оков, обрывки бронзовой цепочки (возможно, на ней висел нож).

Все 29 железных наконечников стрел типично сарматской формы — трехперые, черешковые. Удалось установить, что древки их были окрашены в красный цвет, как это было принято, например, в Хорезме.

От лука сохранилась часть широкой центральной накладки и обломки концевых накладок и вкладышей, судя по которым можно утверждать, что лук из Тугозвоново имел форму типично гуннского лука. Эти вкладыши и накладки увеличивали упругость лука, а, следовательно, силу и дальность полета стрелы.

Кроме железных наконечников стрел, в могиле были найдены два трехгранных втульчатых наконечника, выточенных из кости, зеленого цвета. Втулка наконечника, расширяясь, образует небольшой полый шарик, в стенках которого сделаны отверстия. При полете стрела, снабженная таким наконечником, издавала свист.

Китайская хроника приписывает изобретение «свистящих стрел» гуннскому шаньюю Модэ, жившему на грани III и II веков до н. э.

Получив от отца в управление тюмень (то есть 10 тысяч семейств)

* По рассказам находчиков, много таких бляшек разбросали.

гуннов, Модэ решил во что бы то ни стало стать повелителем всех гуннов. Он обучил своих конников меткой стрельбе и добился беспрекословного повиновения. По его приказам воины должны были стрелять из луков туда, куда Модэ пускал свистящую стрелу. Ослушники наказывались смертью. Так, он пустил стрелу в своего чудесного аргамака, а все, кто не последовал его примеру, отрубил головы. Затем он выстрелил в свою жену. Воины, пожалевшие красавицу-женщину, тоже лишились голов.

Через некоторое время на охоте Модэ выстрелил в отцовского аргамака, и все его воины последовали его примеру — никто не уклонился. Убедившись в дисциплинированности своих соратников, Модэ направил свистящую стрелу в родного отца. В несколько мгновений шаньюй Тумань стал похож на ежа, столь густо его утыкали стрелы. Затем в сумятице были перебиты мачеха, старший брат Модэ и старейшины, не выразившие последнему повиновения. Покончив с врагами, узурпатор объявил себя шаньюем (в 209 году до н. э.).

Стрелы со «свистунками» широко распространились в среде кочевнических и охотничьих племен. В частности, у племен, населявших Саяно-Алтай, они находили применение до самого последнего времени. Эти стрелы применялись не только для целеуказания: массовая стрельба ими могла испугать лошадей и вызвать замешательство в рядах врага.

Нетрудно заметить, что украшения основных предметов вооружения и снаряжения выполнены в едином художественном стиле.

Одной из особенностей этого стиля является широкое применение полихромной, то есть многоцветной, инкрустации, что особенно было распространено в IV—V вв. н. э. Мастера-ювелиры для инкрустации использовали, как мы видим на нашем примере, самые различные материалы — драгоценные и полудрагоценные камни (альмандин, сердолик, хризолит, бирюзу, халцедон, гагат), крашеную пасту, мастику, цветное стекло, смальту, которыми имитировали самоцветы, слоновую кость.

Особое пристрастие к драгоценным и цветным камням в эпоху средневековья объясняется не только красивой игрой цвета или редкостью самоцветов, но и теми магическими и целебными свойствами, которые им приписывали невежественные, суеверные люди этой эпохи. При этом мода на камни менялась.

В IV—V веках н. э. высоко ценились красные и зеленые камни-самоцветы. Красный цвет издавна считался цветом доблести, силы, мощи, мужества, энергии, храбрости. Именно поэтому красными самоцветами украшали оружие, что мы видели на примере палаша и кинжала из Туговоновской могилы.

На Руси, например, еще в XVI—XVII веках верили, что гранат (яхонт, как называли его русские) врачует сердце, мозг, силу и память человека. Так, в частности, думал и Иван Грозный. В русском лечебнике того времени можно было прочитать: «Кто яхонт червлёный при себе носит, аще кто, в солнце смотрячи, очи затемнит, тогда ему поможет...»

снов страшных и лихих не увидит...; аще кто яхонт носит в перстне при себе, тот и скрепит сердце свое и в людях честен будет».

Зеленый цвет, в противовес красному, считался символом мира, весны, плодородия, юности, свежести, жизни, радости, надежды. Обычно зеленые самоцветы, например, изумруд, входили в моду после жестоких войн. Арабы верили, что изумруд предохраняет «от моровой язвы, чар любви и бессонницы». По мнению грузин X века, сила этого камня в том, что в нем, как в зеркале «отражается все тайное и заранее обнаруживается и узнается будущее». Армяне XVI—XVII вв. полагали, что изумруд помогает от «кровоавого поноса и черного кашля, от которого нет спасения» и укрепляет зрение.

До нашествия гуннов, которые принесли с собой альмандины, шпинель, гранат и другие красные самоцветы, в Европе их не знали. Родиной красных самоцветов является Цейлон, Индия, Индокитай.

Несколько слов надо сказать и о синем камне. С синими самоцветами в истории Востока связаны представления о красоте и величии неба. В них видели отражение божественных сил, а потому им поклонялись. Особенно ценились лазурит (от арабского слова «азул», что означает на русском языке «синее небо») и сапфир — «камень неба, он заставляет думать и о вечной жизни». Сапфиром украшали одежды жрецов, царей, статуи богов. Считали, что этот камень помогает одолеть врагов. Германцы, например, называли его «камнем победы».

С бирюзой связывали понятие о верности («бирюза — кости тех людей, которые умерли от любви», — так говорит древнее поверье), о счастье, удаче. Об этом камне народы Востока сложили множество сказаний и легенд.

Я так подробно остановился на камнях, на почитании их суеверными людьми средневековья для того, чтобы подчеркнуть, что в древнем захоронении не может быть каких-либо случайных вещей, что любая из них таит в себе определенный смысл, символизирует какие-то понятия, верования и т. п. Только с учетом этого можно уяснить и общественное положение погребенного человека, и идеологию общества, к которому он принадлежал.

Другой особенностью художественного стиля, в котором исполнены предметы из Тугозвоновской могилы, является не менее широкое, чем полихромия, применение зерни, требующей от ремесленника высокого мастерства.

Искусство зерни зародилось в начале II-го тысячелетия до новой эры в Средиземноморье (Крито-Микенская эпоха). На протяжении многих веков оно не претерпело сколько-нибудь существенных изменений. Этим искусством, в частности, славились в X—XI веках древнерусские ювелиры.

Наш современник, которого трудно удивить тонкостью работы, рассматривая изделия, украшенные зернью, обычно поражается тому, как удавалось древним мастерам делать такие правильные по форме и такие маленькие по величине золотые шарики.

Секрет этого искусства довольно прост: тонкую струйку расплавленного золота лили через струю холодной воды. Большая разница температур вызывала свертывание мельчайших капелек золота в правильные шарики. Затем мастер припаивал эти шарики, располагая их по поверхности предмета в соответствии с рисунком, причем каждый шарик припаивался в отдельности и к основанию, и к стенке гнезда, и к соседнему ядрышку.

Можете представить себе, насколько это филигранная и кропотливая работа, если учесть, что отдельные ядрышки в диаметре не достигают и 0,3 мм!

Для искусства IV—V веков н. э. характерно преобладание геометрических мотивов орнамента. Вот и в нашем примере мы видим, что гнезда, детали отдельных изделий имеют форму правильной окружности, овала, полуокружности, треугольника, квадрата, прямоугольника, полусферы и пр. Зернь также располагается то в виде прямой линии (иногда двух параллельных), то по окружности, то по овалу, треугольниками или пирамидками.

На смену реализму в изображении животных и растений приходит схематизм, условность и стилизация (головы грифона, гроздь винограда в виде пирамидок зерни).

Мастера умело сочетали самые различные материалы. В зависимости от особенностей материала менялись и приемы его обработки. В работе по металлу были применены, в частности, литье,ковка, штамповка, чеканка, паяние, горячее и холодное золочение, по дереву и кости — резьба, пиление, сверление, полировка, оковка, окраска, по камню — огранка, шлифовка, полировка.

Где же сделаны все эти великолепные вещи?

Во-первых, единство стиля, в котором они исполнены, дают основание думать, что весь комплект или приобретен или сделан на заказ у одного мастера, в одной ювелирной мастерской.

Конечно, мысль о местном производстве этих изделий должна быть отвергнута. Среди прямоугольных серебряных накладок на ремне из Тугозвонковского погребения есть одна, явно подражательная, грубой работы. Это, видимо, поделка местного мастера, она должна была заменить сломанную или утерянную накладку из цельного комплекта. Надо полагать, что этот мастер был лучшим из местных (все-таки бляшка делалась для вождя или князя), следовательно, по его работе можно судить об уровне местного ремесла в целом. Из этого явствует, что местным ремесленникам исполнение тонких ювелирных работ было, очевидно, не по силам. Значит, весь комплект вооружения и снаряжения вождя — не местного производства.

Предполагается, что он сделан в одной из мастерских Боспора (Северное Причерноморье), который в IV—V вв. н. э. был центром производства полихромных изделий. Отсюда они расходились во все стороны по Европе и, разумеется, могли попасть и на Алтай. Торговые связи Алтая с Причерноморьем зафиксированы еще в V в. до н. э. Геродотом. Он

отмечает, что к арктике (ученые считают, что они жили на Иртыше) «ходят некоторые скифы», «эллыны из торжища Борисфена и прочих, что на Понте» (Черное море).

Впрочем, не исключено, что вооружение и снаряжение вождя из Тугозвоновского погребения могло быть сделано искусными мастерами Средней Азии, например, Хорезма, по боспорским образцам. Недостатка в ювелирах и кузнецах здесь никогда не было. Все необходимые материалы находились под руками или могли быть получены из соседних стран. Так, золото и серебро в изобилии имелось на Алтае, красные камни-самоцветы издревле добывались в Индии, Бадахшане (Афганистан). Памире, халцедон известен на Алтае и в Киргизии (Ик-Кульское месторождение), лазуритом славился с глубокой древности Бадахшан, а бирюза была национальным камнем Ирана. Наконец, месторождения черного минерала гагата («гешира»*) известны в Восточной Сибири (близ Байкала).

К этому следует добавить, что некоторые предметы украшения и детали оружия, например, перстень с полушарным шатоном и навершие палаша, очень близки по форме среднеазиатским изделиям этого рода.

Окончательно вопрос о месте изготовления основного комплекта найденных предметов может быть решен при более глубоком исследовании.

Интересен вопрос о племенной принадлежности Тугозвоновского погребения. Что это за вождь, что за племя (или племена) он возглавлял?

В середине 1-го тысячелетия до н. э., по мнению известного советского археолога С. И. Руденко, племена, населявшие Горный Алтай, известны грекам как «стерегущие золото прифы», а китайцам под названием юечжи. Западными соседями их С. И. Руденко считает арктиков и кирков, живших соответственно на Иртыше и на Ишиме, северными — легендарных гипербореев, а восточными — создателей тагарской культуры на Енисее — динлинов.

На грани новой эры, по данным Л. Н. Гумилева, районы алтайских предгорий занимали угры, в горной части жили динлины. Западными и юго-западными соседями их были сарматы (на Ишиме) и племена кангюй (на верхнем Иртыше).

Не вдаваясь в детали, замечу, что проведенные нами археологические исследования в 1959—61 гг. в степной и лесостепной зонах Алтая позволяют распространить границу расселения сарматских и родственных им племен на востоке до Оби и даже восточнее ее. Типично сарматские по материалу и обряду курганы нами были раскопаны в с. Кочки (Родиоцкий район), у с. Гоньба (близ Барнаула) — на левобережье, а также у с. Дресвянка (близ Камня) и у д. Зайцевой (Тальменский район, левый Чумыш) — на правобережье. Все они датируются в преде-

* От армянского слова «геширы», что в переводе означает «ночь».

лах III—I вв. до н. э. Вероятно, охотничье-рыболовецкие племена угро-жители севернее и, возможно, занимали лесные районы правобережья Оби.

В первой половине I-го тыс. до н. э. лесостепную полосу Западной Сибири занимали племена сабиров (возможно, давшие название стране — Сибирь), которые принадлежат по языку к угро-самодийским племенам, но близки в то же время гуннам. Горный Алтай заселяли тюркоязычные племена (тугу, теле). Таковы данные письменных источников.

Важное значение для решения поставленного вопроса имеют данные палеоантропологии. Мы уже отмечали странную форму черепа поребенного в карьере вождя — результат кольцевой деформации. С момента рождения, пока не окрепли кости черепа, голову ребенка стягивали тугой повязкой. Она препятствовала нормальному развитию черепа, вследствие чего он и получал огуречнообразную форму. Этот обычай широко практиковался у сарматов (особенно во II—IV вв. н. э.), у алан (письменные источники застали их севернее Каспийского моря в первых веках новой эры) и, наконец, у гуннов, которые, очевидно, заимствовали его у сарматов*. (Впрочем, и в Китае, с которым в той или иной форме длительное время взаимодействовали гунны, еще в сравнительно недавнее время известны были случаи искусственного изменения форм тела, правда, уже в виде пережитка эпохи варварства — «дети-вазы» и пр.).

Полагают, что высокий лоб у сарматских, аланских и гуннских племен считали признаком знатности, благородства, ума, во всяком случае признаком, выделяющим представителей этих племен из остальной массы варваров.

В конце первого тысячелетия до новой эры китайцы изгнали северных гуннов (эфпалитов) из Центральной Азии, разгромив затем орды Чжи-Чжи-шаньюя при Таласе (Киргизия). Во II-ом веке н. э. племена сяньбийцев захватили гегемонию в Центральной Азии, изгнав за Тарбагатай остальную часть северных гуннов.

В Семиречье часть гуннов смешалась с племенами юечжи, образовав конфедерацию племен юебань, а наиболее сильные из них ушли на Волгу. В продолжении двух веков (до 350 г., когда гунны начали борьбу с волжскими аланами) о них ничего неизвестно. В связи с этим встает ряд вопросов: не расселились ли эти гунны вперемежку с сарматами и уграми в Западной Сибири, в том числе и в предгорьях Алтая? Не следует ли их связывать с упомянутыми выше сабирами?

Интересно, что поребнения с деформированными черепами до 1961 года были обнаружены в двух случаях на Ближних Елбанах (близ с. Большая Речка Топчихинского района), в Усть-Таргас (Омская область), в Козловском могильнике (Тюменская область). В 1961 году обнаружено прунтовое кладбище с деформированными

* Указания китайцев на «толстые затылки» и высокие шапки у гуннов могут служить косвенными данными о наличии обычая кольцевой деформации у последних раньше их знакомства с сарматами.

черепами (два из трех найденных) на левом берегу Алея, между селами Нечунаево и Кабаково (на границе Шипуновского и Алейского районов). Весь инвентарь — наконечники стрел, фрагменты сосудов — позволяют датировать его II—IV вв. н. э., то есть тем же временем или близким временем Тугозвоновского погребения, могил с деформированными черепами на Ближних Елбанах, в Усть-Тартасе, в Козловском могильнике.

Следует обратить внимание на такую деталь облика вождя из Тугозвоновской могилы, как наличие у него высокого носа. Этот признак китайцы считают характерным для гуннов. Интересно, что когда в 350 г. Ши Минь приказал отрубить всем гуннам головы, то «погибло много китайцев с возвышенными носами»*.

Наиболее вероятным нам кажется предположение, что погребенный в Тугозвоново являлся вождем, даже, скорее, князем юдного из племени конфедерации юебань. Пять племен, сплотившихся в этот союз, образовали в Семиречье княжество, просуществовавшее до V века н. э. Княжество юебань занимало территорию по обе стороны Верхнего Иртыша. Судя по карте, составленной Л. Н. Гумилевым по данным II-го века, границы его на северо-востоке и востоке подходили к бассейну Катуня и верховьям Чарыша и Алея**. В свете Тугозвоновской находки и находки у Нечунаево эту границу, видимо, следует отодвинуть на северо-восток до среднего, а может быть, и нижнего течения Чарыша и Алея.

Трудно переоценить значение Тугозвоновской находки для науки. Во-первых, она во многом дополняет наши сведения по эпохе «великого переселения народов». Надо сказать, что в отличие от других эпох, представленных массовым археологическим материалом, период IV—V вв. н. э. располагает довольно скудными вещественными источниками. В этих условиях находка в Тугозвоново вызвала в кругах научной общественности живейший интерес, можно даже сказать, сенсацию. Тем более, что эта находка во многом полнее (по составу инвентаря, интереснее по разнообразию материалов, по географической принадлежности (кто бы мог думать, что такие захоронения могут встретиться на Алтае), большинства «княжеских погребений» IV—V вв. Восточной и Центральной Европы.

Материалы из Тугозвоново во многом восполняют пробелы в истории Алтая II—V вв. н. э. Ведь, по сути, об этом периоде алтайской истории мы почти ничего не знаем: письменных данных почти нет, археологические памятники известны в двух-трех пунктах предгорий (в Горном Алтае совсем их нет), причем окончательно не решен вопрос о датировке их и этнической принадлежности. Теперь мы можем сказать, почему нам известно мало памятников археологии II—V вв. н. э. Погребения этой поры лишены насыпей, а поселения скотоводов-кочевников

* Г. Е. Прум-Гржимайло. «Западная Монголия и Урянхайский край».

** Л. Н. Гумилев. «Хунну», Москва, 1960, стр. 238.

почти не оставляют культурного слоя. Отныне мы знаем, что памятники этой эпохи можно встретить в долинах степных рек — Чарыша, Алея, Касмалы, Кулунды.

В истории древности и средневековья не решено немало общих и частных проблем — расселение племен и народов, политические и культурные связи их, образование классов и государства у разных народов, происхождение современных тюркоязычных народов — алтайцев, венгров (ряд венгерских ученых прародиной своего народа считает Саяно-Алтай) и др. Тугозвоновское погребение для решения их дает дополнительный вещественный и антропологический материал.

Общезвестно также, что богатейшие курганы Западной Сибири и Алтая ограблены в древности или в XVIII веке. Большинство интереснейших для истории культуры находок погибло — переплавлено, распродано*. Но из уцелевших (подношения «бугровых вещей» Петру I заводчиком Акинфием Демидовым и сибирским генерал-губернатором Гегариным) составилась знаменитая Сибирская коллекция Петра I. Она состоит из более чем 200 предметов, относящихся к разным эпохам. Значение Тугозвоновской находки, в частности, заключается и в том, что она поможет выделить из этой коллекции материалы IV—V веков.

* В XVIII в. «могильным золотом» даже торговали на Ирбитской ярмарке.

На охотничьих тропах

В. САВИНОВ

ЗА БЕЛКОЙ-ТЕЛЕУТКОЙ

В ленточных борах и в лесных массивах правого берега Оби обитает любопытная разновидность белки, которую называют белкой-телеуткой. Эта самая крупная, самая красивая и наиболее интересная как для биолога-натуралиста, так и для охотника белка. Охотника привлекает ее шкурка с пышным, пушистым, дымчато-голубым мехом. Натуралиста интересует другое. Ни одна белка, кроме телеутки, не может существовать, питаясь исключительно только семенами сосны. Происходит это оттого, что при проедании этих семян углы рта белок постепенно залепляются вязкой и клейкой смолой, которая мешает им жевать и нормально питаться и, в конце концов, приводит к гибели зверьков. И только крупной и сильной белке-телеутке не страшен однообразный рацион из семян сосны, так как многовековой естественный отбор выработал у нее целый ряд полезных приспособлений для жизни в сосновом лесу, в том числе и способность очищать свои щеки от клейкой смолы.

Белка-телеутка живет не в тайге, а в нешироких ленточных борах. Поэтому охотиться на нее значительно легче, чем промысливать белок в глухой труднопроходимой тайге. В силу этого охота на белку-телеутку строго регламентируется. Работники госохотинспекции и заготовительных организаций постоянно следят за численностью белки-телеутки, проводя регулярные учеты в основных местах ее обитания, и на основании этих данных устанавливают цифры возможного отстрела белки на каждый сезон охоты. Такие меры необходимы: если разрешить свободную охоту, этого ценного зверька можно полностью выбить в течение нескольких лет.

Еще учась в охотоведческом институте, я много слышал от своих старших товарищей, побывавших на Алтае, об этой замечательной белке. Когда пришло время ехать на производственную практику, я, не колеблясь, избрал Алтайский край.

Четыре месяца с рюкзаком и ружьем шагал я по охотничьим тропам этого чудесного края и никак не мог насмотреться на его красоту. Мне повезло: если не считать одного месяца, потраченного на изучение результатов акклиматизации ондатры, недавно выпущенной в водоемы края для расселения, работа моя все время была связана с белой-телеуткой.

Более месяца руководил я отловом живых белок-телеуток. Отловленных белок отправляют в Крым, на Кавказ и в другие места Европейской части Союза для заселения ими сосновых и смешанных лесов. После окончания отлова в составе большой экспедиции, руководимой опытным охотоведом-аспирантом, я

принимал участие в проведении учета численности телеутки в основных местах ее обитания. Егорьевском, Волчихинском, Михайловском и Ключевском районах.

И вот дописаны последние страницы отчетов, вычерчены карты, подведены итоги в вычислительных таблицах, подсчитаны запасы этого ценного зверька по лесничествам, лесным дачам, лесхозам, определены возможные цифры отстрела для каждого района.

По условиям производственной практики охотовед-практикант должен определенное время провести на промысле вместе с опытными охотниками. Белга телеутка, сменившая летний рыжий мех на зимний пепельно-голубой, по-прежнему интересовала меня. Я решил познакомиться с ней поближе.

Была вторая половина ноября. Охота на белку началась уже неделю назад. Большинство охотников, получив разрешения, начало отстрел, ежедневно выходя в бор. Конечно, здесь не тайга, и условия охотничьего промысла тут совершенно иные. Местным охотникам не нужно всю зиму жить в далеких охотничьих избушках и землянках, вдали от дома и людей в таежной глухомани. Местный охотник выходит из дома перед рассветом, а к вечеру он уже возвращается обратно и только в редком случае заночует где-нибудь на кордоне у лесника. Об охотничьей романтике с ночевкой у жаркого костра здесь и понятия не имеют. Есть немало и таких охотников, которые «белкуют» верхом и подчас стреляют обнаруженную собакой белку, даже не сходя с коня. Такая неинтересная охота, конечно, меня не устраивала.

Тщательно изучив все возможности и посоветовавшись со знающими людьми, я избрал своим отправным пунктом село Сросты.

Сростами оно называется потому, что против него соединяются, как бы срашиваются, два бора — Барнаульский и Касмалинский, образуя, таким образом, Сростинский бор. Барнаульский и Касмалинский боры узкие и редкие, ширина их, как правило, не превышает 8—10 километров. Сростинский же бор, имеющий в ширину более сорока километров, кажется по сравнению с ними прямо тайгой. В этом бору, дойдя до его середины, в тот же день вернуться домой не сможешь. Поэтому некоторые охотники построили в глубине бора промысловые избушки и землянки и поселяются в них по-таежному, надолго, изредка лишь выходя домой для пополнения припасов.

Я тоже думал обосноваться и жить в бору, для чего заручился рекомендацией к охотнику-промысловнику Федору Максимовичу. Как меня предупредили, Федор Максимович компаний водить не любит и охотится больше в одиночку, поселяясь почти на всю зиму в своей охотничьей землянке, расположенной в такой глухомани, куда редко забредал кто-либо.

Охотника я застал дома — он задержался из-за болезни. Представьсь ему, попросил принять в компаньоны.

— Ну что ж, парень, — сказал Федор Максимович, — я непротив, пойдем. Только вот беда: собаки у меня доброй нет. А без собаки какие мы с тобой «бельчатники». Так, зря проходим.

Я посмотрел на худенькую остроухую собачонку, ласкавшуюся к старику.

— Нет, нет, — покачал он головой, перехватив мой взгляд. — На эту надежда невелика, ей и году нет. Верно, по голу тязкала на белок, да ведь тогда белка больше на земле держится, гриб ищет, тут ее любая собака найдет!.. Ладно, иди в избу, отдохнай, а я добегу до соседа, он днями мне своего кобеля предлагал, говорит, хорошо белку ищет. Только не верю я ему, уж больно пустой мужик!

Вскоре Федор Максимович вернулся вместе с соседом. «Пустой мужик» был мал ростом. Голова его едва доходила до плеча худощавому рослому хозяину. Давно небритая, поросшая редким рыжим волосом физиономия пришедшего была повязана полотенцем — правая щека вся вздулась. Я участливо поинтересовался, не зубы ли мучают.

— Какой там зубы! Ружье сдает проклятое, прямо хоть выброси! — горестно пожаловался он.

Оказывается, сосед Федора Максимовича тоже принадлежал к неумному племени истребителей дичи. Его старая шомполка не в меру «сдавала», то ли от неумеренных зарядов пороха, то ли от того, что давно уже нуждалась в покое.

Федор Максимович умело перевел разговор на более интересовавший нас собачий вопрос.

Человек с флюсом оживился.

— Что ж, выручу вас, что сделаешь! Мне все равно с моим ружьем охотиться нельзя, а такой собаки, как мой Валет, вы нигде не найдете! Не буду хвастать, но вряд ли в районе есть собака, которая бы лучше Валета шла по белке! Бегаёт, как паровоз, ищет, как молния, лает, как лев!

Эта цветистая характеристика насторожила меня.

— Где пес?

— Вон там, к изгороди привязан.

«Лев» не только не походил на царя зверей, но вообще был очень далек от обыкновенной белковой собаки-лайки. Это был лохматый толстый кобель желтого окраса, с длинным, задранным кверху саблевидным хвостом. Этот хвост, а также уши, одно приподнятое, полустоячее, а другое свислое, дворняжье, придавали ему какой-то лихой, бесшабашный вид.

Особенно мне не понравились его маленькие светло-желтые глаза. В инструкциях и стандартах, описывающих внешность охотничьих собак, говорится, что глаз у собаки должен быть темным, карим или темно-карим. Глаза светлого, желтого или зеленого цвета портят породистую охотничью собаку и считаются порочными.

Но выбора у меня не было и соглашение о передаче Валета в мое временное пользование состоялось. Его хозяин ушел, унося с собой банку черного пороха, полученного в порядке задатка.

На другой день мы с Федором Максимовичем тронулись в путь, по очереди таща санки, тяжело нагруженные немудреным охотничьим скарбом.

Землянка Федора Максимовича оказалась маленькой, тесной и совершенно лишенной света. Даже днем ее нужно было освещать коптилкой или же держать открытой дверь. Мы установили привезенную с собой железную печку, заткнули особо крупные щели в стенах, наломали лапок с молодых сосенок и настелили их на нары. А когда в печурке весело зашумел жаркий огонь, наше убогое жилище приобрело обжитой и даже уютный вид. Скоро в землянке стало так жарко, что спать легли раздетыми. Но уже часа через два я проснулся, стуча зубами от холода. В щели нашего жилища все же здорово дуло и, как только в печке потухал огонь, сразу становилось холодно. В дальнейшем мы заготавливали с вечера запас дров и подбрасывали их в печурку всю ночь.

Первый день нашей охоты был погожий, с бодрящим легким морозцем. В бору ветер почти не чувствовался, а мороз в 20—25 градусов охотнику не помеха. В такую погоду и белка чувствует себя лучше и почти весь день проводит на воле, кормится. В сильный ветер, снегопад или в крепкий мороз она большую часть дня проводит в теплом гнезде — «гойне» — и лишь на короткий срок покидает его для того, чтобы подкрепиться семенами двух-трех сосновых шишек или же схватить из своих запасов высушенный грибок и наскоро закусить им.

Пошли без лыж. Снег был еще неглубоким. Собаки, ночевавшие на полу землянки, выскочили и с радостным повизгиванием бросились в бор. Верно, это больше относилось к шустрой щупленькой Ветке Федора Максимовича. Толстый же Валет, дав небольшой круг, замкнул его за нашими спинами и, решив, видимо, что им сделано вполне достаточно, пошел сзади нас, не извлекая никакого желанья «пойти в поиск». Подбадривающие крики «Валет, ищите, Валет, вперед!» не производили ровно никакого впечатления. И только получив пинок от рассерженного Федора Максимовича и взвизгнув, он отбежал от нас шагов на двадцать и больше не приближался, твердо выдерживая эту дистанцию безопасности в арьергарде нашей охотничьей группы.

Вскоре невдалеке послышался звонкий с повизгиванием лай. Направившись

на лай, мы увидели Ветку, азартно облаивавшую кучную группу высоких сосен. Сюда же подоспел и Валет, который изредка лениво взлаивал то на одну, то на другую сосну.

Сколько я ни всматривался в вершины деревьев, нигде не мог обнаружить затаившегося зверька. Непривычному человеку очень трудно рассмотреть в густых сосновых ветках спрятавшуюся белку, и только наметанный глаз бывалого охотника быстро замечает ее. Федор Максимович, несмотря на более слабое, чем у меня, зрение, первым обнаружил белку, удовлетворенно воскликнув: «Вот она, Николаич, правее вершины!» Присмотревшись в то место, куда он показывал, я с трудом разглядел головку зверька с красноватыми ушками, концы которых оканчивались кисточками такого же ярко-рыжего цвета.

Притаившись, белка жалась к ветке. Рыжие ушки и лапки сливались с красноватым цветом сосновой коры, способствуя лучшей маскировке.

Прицелившись, я выстрелил. Зверек на несколько секунд повис, уцепившись передней лапкой за сучок, потом быстро начал падать, мягко стукаясь о ветки дерева.

Не успели мы опомниться, как Валет почти на лету подхватил белку, зажав зубами заднюю часть тушки. Подкочившая Ветка ухватила зверька за голову. Собаки стали яростно тащить его каждая в свою сторону.

Когда мы подбежали, Валет предупредительно отпрыгнул, унося в своей пасти большую часть разорванной белки, а Ветка осталась на месте, выронив обмусоленную головку с передними лапками.

Отбежав на почтительное расстояние, Валет, почти не жуя, прямо со шкуркой и хвостом, проглотил нашу первую белку. Мы сразу же возненавидели этого лохматого пса с зелеными глазами и нахальной мордой. Федор Максимович на все корки крыл соседа, вероломно всучившего нам свою гадкую собаку, и грозил по возвращению расквитаться с ним самым жестоким образом.

Перекурив и немного успокоившись, мы решили разойтись и охотиться поврозь.

— Ничего не поделаешь, Николаич, — сказал Федор Максимович, — раз такое дело, придется тебе самому искать белок по поеди, а к завтраму что-нибудь придумаем!

Мы разошлись. Валет, издавек наблюдавший за нами, некоторое время сидел неподвижно, как бы раздумывая, с кем ему идти, после чего нехотя отправился следом за мной.

Вскоре под тремя соснами, растущими на краю болотистой согры, я обнаружил свежую поедь белки. Видно было, что зверек совсем недавно кормился здесь, пуская по ветру легкие чешуйки, прикрывающие семена в сосновой шишке. Я тщательно просмотрел все ближние деревья, стараясь отыскать белку, но ничего не увидел. Когда собака находит белку, она, как правило, точно указывает дерево, на котором притаилась зверек, и охотник сосредотачивает все свое внимание на том, чтобы рассмотреть белку именно на этом дереве. Один же охотник не может точно определить, на каком дереве сидит зверек.

Так и не обнаружив зверька, я решил применить способ охотников-алтайцев, добывающих белок без собак. Суть его состоит в том, что охотник, найдя свежую поедь белки, садится в сторонке, откуда хорошо видны деревья, где спряталась белка, и сидит совершенно неподвижно. Убедившись, что никого не видно и не слышно, белка, переждав десяток-другой минут, начинает кормиться или перескакивает на другое место и выдает себя.

Испытанный способ алтайских охотников помог. Через несколько минут я заметил, что близ вершины одной из сосен что-то шевельнулось, после чего оттуда стали падать на снег легкие чешуйки сосновой шишки.

Пока я караулил белку, Валет спокойно сидел в стороне, спиной ко мне, всем своим видом показывая, что он не желает ввязываться в эту историю. Но стоило мне, заметив белку, поднять ружье и начать целиться, как он мгновенно оказался под сосной и начал добросовестно лаять. Я повернулся к белке спиной и стал це-

литься в вершину другой сосны. Пес, заметив это, быстро перебазировался и стал лаять на другую сосну.

Наученный горьким опытом, я стал думать, как мне убить белку и в то же время помешать Валету схватить ее. Сначала я отогнал его, но только вновь поднял ружье, как он опять оказался под сосной, ожидая выстрела и падения белки. Делать было нечего. Я выстрелил и со всех ног бросился под дерево, пытаясь схватить падающего зверька. Белка промелькнула передо мной и, как только коснулась земли, тут же запищала в зубах собаки. Но воспользоваться моей добычей Валету не удалось. Я крепко схватил разбойного пса за загривок и принялся щедро отпускать ему пиньки, требуя отдать белку.

В этом поединке я одержал победу, но она не принесла мне большой радости. Нежная пушистая шкурка зверька, замусоленная и прокушенная в нескольких местах, имела жалкий вид.

Охотиться дальше в таких условиях не имело никакого смысла. Я пошел разыскивать Федора Максимовича. Дважды слышал его выстрелы, по которым понял, что его охота не была безрезультатной. Вскоре недалеко послышался лай Ветки. Валет, обогнав меня, устремился на ее полосу. Неожиданно ударил выстрел. После него послышался крик, собачий визг, а потом страшная ругань.

На небольшой полянке, свертывая махорочную самокрутку, стоял Федор Максимович. Руки его заметно дрожали. За поясом у него было заткнуто две белки. Ветка с виноватым видом сидела у ног хозяина. Валета не было видно.

Оказывается, Ветка одна, без Валета, не пыталась рвать белок, а, слегка придавив зубами, безропотно отдавала хозяину. Зато третью убитую Федором Максимовичем белку постигла та же участь, что и наш первый охотничий трофей. Не успел старик наклониться, чтобы взять у Ветки белку, как появившийся нивесть откуда «проклятый кобель» схватил зверька и скрылся в лесу.

— Может, опустить ему заряд дроби да и дело с концом? — предложил я в сердцах.

Но Федор Максимович отклонил этот вариант.

— Так-то оно так, Николаич, да больно уж хозяин-то у него пакостный, судиться еще начнет!

Пока мы разговаривали, Валет появился в поле нашего зрения, сытно облизываясь и довольно помахивая хвостом. Федор Максимович показал ему кулак и выругался.

Мы продолжили охоту. Валет следовал за нами. Как только Ветка находила белку, он тут же подскакивал, надеясь утащить добычу. Но мы заняли круговую оборону. Один из нас стрелял, другой пинком отгонял шкандлявого пса.

Принимая такие меры предосторожности, мы не дали больше Валету украсть ни одной белки.

Вечером, возвратись к своему стану и ободрив белок, мы накормили Ветку, а прощрафившего пса голодным выгнали ночевать наружу.

Утром следующего дня, уходя на охоту, мы привязали Валета толстой веревкой к дереву близ землянки и долго еще слышали разносящийся по бору его громкий и обиженный вой.

Охотились мы теперь поврозь. Я вскоре научился неплохо отыскивать белок и редко возвращался в землянку, принося меньше, чем добывал Федор Максимович со своей Веткой. Еще не оправившись от болезни, старик ходил очень медленно и его шустрой собачке иногда приходилось подолгу лаять в ожидании хозяина.

Не оправдавший возложенных на него надежд и принесший нам столько неприятностей в первый день охоты лохматый Валет давно уже был с позором прогнан к своему хозяину. Верно, покинул он нас очень неохотно и только после того, как Федор Максимович дважды отхлестал его кусками изгрызанной веревки и наотрез отказался кормить эту прожорливую, зловредную скотину.

Незаметно пролетели две недели. Выпал большой глубокий снег. Мы стали промышлять на лыжах, а Ветка оставалась в землянке, так как свободно передвигаться, как прежде, она уже не могла.

Кончились наши скромные запасы хлеба. Основой нашего питания служила

бельчатина во всевозможных видах: вареном, лареном, поджаренном на вертеле и тому подобное. Надоевшую сладковатую, пахнущую хвоей бельчатину закусывали вареным картофелем и запивали ароматным, настоенным на смородиновых ветках чаем.

Под нарами аккуратными пачками, по десять в каждой, лежат высушенные бельчи шкурки. Открываем совет и решаем охотиться еще пять дней.

Добывать белок становится все труднее и труднее. Помимо глубокого снега, нам крепко мешают сильные морозы.

«Поедей» почти не видно. Зверьки весь день проводят в теплых гнездах и лишь в середине дня ненадолго покидают их, чтобы хоть как-нибудь утолить голод.

Федор Максимович предложил метод охоты, широко применяемый местными охотниками в середине морозной глубокоснежной зимы — охоту с шестами. Теперь мы идем на лыжах, таща за собой длинные сухие шесты, которые прикреплены к поясу, и отыскиваем уже не следы кормежки белок, а их гнезда. Найдя гнездо, охотник тычет в него шестом и выгоняет белку. Если белки в гнезде нет, оно все равно разрушается и сбрасывается с дерева. По заявлению Федора Максимовича все местные охотники «спокойных веков» так стреляют белок, но мне такой способ охоты совершенно не нравится.

После трех дней охоты с шестом я приобретаю кое-какой опыт и дополнительные знания о белке-телеутке. Обычно после того, как гнездо потревожат шестом, зверек молча выскакивает из него. Но однажды, ткнув шестом в одно из бельчиных гнезд, мы услышали резкий писк, который заставил Федора Максимовича обрадованно улыбнуться и сказать: «Есть пара». Вскоре из гнезда выскочила белка, которую я быстро сбил выстрелом. Старик снова пошевелил гнездо шестом и оттуда голубоватой тенью мелькнула еще одна белка. Один раз нам даже попалось гнездо с тремя белками.

Обычно белки зимой не живут по двое, тем более по трое в одном гнезде. Значит, к такому коллективному сожительству их вынуждают особые обстоятельства. Очевидно, некоторые белки, у которых охотники разрушили гнезда, вынуждены, чтобы не замерзнуть, насильно вселяться к соседям.

В один из морозных дней я нашел бельчье гнездо на невысокой густой сосенке. На одной из веток рядом с гнездом сидела белка-летяга. Только почему-то вместо обычных для летяг больших, черных, слегка выпуклых глаз, у этой летяги глаза были совершенно белыми. Присмотревшись, я увидел, что зверек мертв. Из гнезда же после нескольких толчков шестом выскочила крупная белка-телеутка. Нетрудно было воспроизвести картину этой небольшой лесной трагедии. Вернувшись к своему гнезду после кормежки, белка-телеутка нашла его разрушенным. Подгоняемая морозом, она отправилась искать себе пристанище. Наткнувшись на гнездо летяги, более сильная телеутка вышнала из него хозяйку, которая и замерзла, сидя на ветке рядом со своим жильем.

Мне стало жаль летягу. Охотясь на белок, я часто встречал этих интересных зверьков и всегда любовался их необычной способностью, плавно планируя сверху вниз, как бы перелетать по воздуху на довольно большие расстояния.

Живут летяги в дуплах деревьев. Там, где дуплистых деревьев нет, они, как и телеутки, устраивают гнезда на деревьях или занимают старые, брошенные белками. Обнаружив «населенное» дупло, слегка поцарапав по коре дерева и тут же из дупла вылетает любопытная серая головка с короткими круглыми ушками и непропорционально большими, как бы удивленными, черными глазами. Летяга очень доверчивый и неупугливый зверек. Выскочив из дупла, она усаживается где-нибудь на ветке высоко от земли и с любопытством начинает рассматривать охотника и собаку. Если в нее бросит сосновой шишкой или сухой веткой, она быстро взберется на вершину дерева и ринется с нее вниз, плавно планируя в воздухе.

«Летать» по воздуху летяге помогают свободные складки кожи, расположенные по бокам ее тела между передними и задними лапками. Очтившись в воздухе, летяга широко растопыривает лапки. Складки кожи между ними натягиваются, и все тело приобретает вид конверта или бумажного змея с небольшим пушистым серым хвостиком посередине.

С вершины дерева, с которого летяга «стартует», она описывает в воздухе кривую и «приземляется» на другом дереве, отстоящем на 15—20 метров от первого, словно прилипая к стволу плашмя всем телом. Тут же сразу летяга устремляется по стволу к вершине дерева и снова бросается в полет.

Очень интересно наблюдать семейство летяг, когда они, как бы соревнуясь между собой в проворстве и ловкости, начинают перелетать с дерева на дерево, обгоняя друг друга и пронсясь одна мимо другой во время встречных полетов.

Шкурка летяги ценится очень недорого, почти не оправдывая стоимости заряда. Поэтому охотники предпочитают только любоваться этим интересным зверьком, не стреляя его.

Три дня охоты на белок с применением шестов убедили меня в исключительной вредности этого широко применяемого способа охоты. Федор Максимович тоже согласился со мной, что для советских охотников, думающих о разумном, а не хищническом использовании наших природных богатств, такие методы охоты неприемлемы. О своих соображениях я впоследствии поставил в известность Государственную охотничью инспекцию и там приняли необходимые меры к прекращению и повсеместному запрещению охоты с шестами.

...Утром мы отправились в последний охотничий обход. Стоял лютый мороз, и все живое как бы замерло, надежно укрывшись в норах, дуплах и гнездах. Продолжать охоту в таких условиях не имело никакого смысла; да и время, отведенное мне для прохождения практики, подходило к концу. В последний раз напившись чаю и пожевав давно осточертевшую бельчатину, мы тронулись в обратный путь, уложив на санки нехитрый охотничий скарб и связки беличьих шкурок. Низкая проклятая охотничья землячка, сопревая нас длинными морозными ночами, осиротела до следующей зимы.

Соскучившаяся по дому Ветка, проваливаясь в снег чуть ли не до самых ушей, радостно бросалась вперед, но вскоре, измучившись, уныло пообрела сзади, стараясь ступать по проложенной нами лыжне.

Пока шли бором, крепкий мороз лопыл только лицо и сжимал дыхание каждый раз, когда хотелось вдохнуть в легкие больше воздуха. Но вот мы вышли из бора. Короткий зимний день догорел и незаметно стало смеркаться. Лес внезапно прохватил насквозь ватные телогрейки, остудил разгоряченное ходьбой тело, ослепил глаза морозным инеем.

Недалеке замелькали огоньки села. Захотелось скорее в тепло, к свету, к людям.

Марк Юдалевич



— Будь вежливым! — меня учили с детства,
и никуда от этого не деться.
Вот я иду, приятеля встречаю:
— Заглядывайте к нам на чашку чая...
Из вежливости ведь еще припрется,
и битых два часа болтать придется.
Ему невесело, и мне не надо.
— Заглядывайте, будем очень рады.
И сколько же часов на белом свете
из вежливости брошено на ветер.
Ах, вежливость! В твоём ажурном
царстве
Мошеники не раз услышат: —
Здравствуй!
Ночной бандит, чей длинный нож
наточен,
не раз, не два услышит: — Доброй
ночи!
Ах, вежливость! Тебе скажу я прямо:
бываешь ты подчас изрядным хамом.



Говорят, что людей по глазам узнают:
лжет приятель тебе, а глаза выдают.
Если девушка любит—опять же глаза...
Все в глазах: и любовь, и расчет, и
гроза.

Но бывает, бывает, вы знаете сами:
даже девушки лгут голубыми глазами.
Жены, жены, которые смотрят невинно,
и в глазах ничего, кроме правды,
не видно.

И приятель, чьи взгляды учащем
лучатся,
лицемерит и лжет, и такое случается.
И такое не сразу откроется нам.
Ах, какие глаза достаются лгунам!

Л. ВАГАНОВ



В кабинете неловкое молчание. У ответственного секретаря редакции газеты «Хлебороб Загорья» Владимира Степановича взъерошенные волосы. Это означало, что собирается гроза.

— Что же получается, товарищи? — начал Владимир Степанович задушевым тоном. — Объявили конкурс, сроки выходят, а в папке ни одного рассказика.

Сотрудники, нахмурившись, смотрели кто в окно, за которым топорщились воробьи, греясь на солнцепеке, кто на дверь, через которую было слышно, как на машинке кто-то тюкал одним пальцем.

— Это срам! Позор!

— У меня есть замысел, Владим Степаныч, — робко заметил самый молодой литсотрудник Алеша Гонцов.

Владимир Степанович не удостоил его ответом. Он смотрел на «зубров» редакции.

— Напишут, — равнодушно пробасил кто-то из угла. — Впереди еще целая неделя.

Владимир Степанович словно ждал этого. В его глазах вспыхнул огонек непримиримости, в голосе и жестах появилась страстная убежденность. Горячий гейзер будет хлестать двадцать, а то и тридцать минут.

— ...Благодушие, спячка, дремучка — вот что свирепствует в нашей редакции. Не ищем мы самородков, не видим под носом алмазов. А они у нас, безусловно, есть. Надо искать. Факты сегодня говорят, что мы плохо работаем с авторским активом, слабо связаны с массами... Высокое призвание журналиста обязывает...

Тут зазвонил телефон. К чему обязывает высокое призвание, так и осталось для Алеши неизвестным.

На следующий день он пришел в редакцию за час до начала работы. Уселся за стол и принялся торопливо писать. Перо его лихорадочно скрипело по бумаге. Закончив рукопись, Алеша бегом отнес ее на машинку...

На летучке Владимир Степанович, как бы между прочим, заявил: — А пишущие в нашем районе есть, братцы. В моей папке лежит очень неплохой рассказик. Пришел с сегодняшней почтой.

Он склонил голову, чтобы дым от папиросы не попадал в глаза, и, хитро поглядывая на сотрудников, забарабанил пальцами о стол.

— Вот, посмотри, Петр Васильевич. Как на твой взгляд?

Три листа, отпечатанные на машинке, небрежно упали на соседний стол.

— А что? Ничего, — солидно пробасил тот. — Свежо. Без штампов. Сюжет динамичный. Сразу берет быка за рога. Кто пишет? Караваев? Не знаю такого...

— Нет, ты смотри, старик, как злободневно, — перебил секретарь. — Юмора сколько! Трактор стал. Тракториста донимают поверяющие. Рядом урчит мотоцикл, легковая автомашина, конь под седлом, а прицепщик за пять километров бежит за деталью. И тракторист-то — ведь это прямо дипломат! Картинка подсмотрена в жизни, написана бойко, смело. Образы есть, характеры, время. Жемчужинка есть. Сразу видно, что писал рассказ человек от земли.

Рукопись пошла от одного сотрудника к другому. Все хвалили.

— Вот, Алеша, как надо писать, — неожиданно обратился Владимир Степанович к Гонцову. — Поедешь в совхоз, познакомишься с автором, трактористом Иваном Караваевым. Пригласишь в редакцию.

Алеша смешался, покраснел.

— Это что, оригинал? — спросил заведующий отделом писем, потрясая рассказом. — Или здесь, у нас, перепечатали?

— Оригиналы, конечно. Видишь, подпись.

— Машинка наша, редакционная. Вот, буква «р» западает. Подозрительно. Да и бумага редакционного формата.

— Дай-ка сюда! — потребовал секретарь. — Этот фокус мне не нравится. Кто писал рассказ?

— Я, — бледнея, сказал Алеша.

Владимир Степанович пристально посмотрел на него. Сотрудники улыбнулись.

— Это исключено! — уверенно заявил секретарь. — До таких рассказов, Гонцов, тебе еще расти и расти. Сначала овладей газетными жанрами. Ну, сознавайтесь, шелкоперы! Кто? Рассказ пойдет в номер.

— Вот рукопись.



Алеша достал смятые листы и положил перед секретарем.

Пауза длилась довольно долго. В тишине только слышалось неровное дыхание Алеши и поскрипывание новых ботинок Владимира Степановича.

— Да, ты прав — ха-ха! — деланно засмеялся секретарь. — Рассказ твой, Гонцов... Но в газету он не пойдет.

Кроме секретаря, Алеши и Петра Васильевича в кабинете уже никого не было. Как-то неловко, когда на глазах падает такая громоздкая вещь, как авторитет.

— Но ведь вы только сейчас говорили...

— Говорил, и еще раз скажу. Для тракториста Караваява рассказ хороший, а вот для литературного работника редакции — слаб. Сухо изложен. Схема. Его еще дотягивать и дотягивать. Вот так, старик. Писать надо больше. Жемчужинки нет. А ведь высокое призвание журналиста обязывает... То-то!



БОЛЬШОЙ слушатель

В бухгалтерии зазвонил телефон.

— Да, да, — заскрипел в трубку раздраженный голос. — Я вам повторяю: лимита у нас нет. Понимаете? До свидания!

Телефонная трубка с треском легла на рычаг. На лице сухопарого человека с лицом желтым и помятым, как холодный пирожок, еще долго сохранялось выражение страдания.

Тяжелый, застоявшийся воздух в помещении пропах табаком. Растрепанными нитями над столами плавал дым.

Холодный пирожок сморщился, рука машинально потянулась за портсигаром. Затем взгляд остановился на пепельнице. Она была густо утыкана окурками и напоминала большой цветок георгина...

Рабочий день окончен. Но Семен Аверьянович все еще перекладывает на столе бумаги. Болит голова, а мысли, отрывочные и настойчивые, просятся, не поддаваясь никакому бухгалтерскому учету.

«Надо что-то предпринимать, — думает он по инерции. — Легко рассуждать Самарову! Врач, здоров, как бык. Любителем природы стал

от безделья. Вот придет, я ему так и скажу. Хороший ты охотник, Гриша, а вот врач никудышний. Рецепт у вас у всех один: бросить курить, бывать на воздухе, питание, лежание, движение, впечатление... И еще черт его знает сколько популярных истин в том же духе. Все советуют! И Самаров туда же... Все это, приятель, че-пу-ха! Лечить надо! Так и скажу: лечить, а не болтать! Когда у человека слабость, нет аппетита, головные боли... Ему нужны действенные лекарства, срочное вмешательство. А ты... терапевт!.. И твой большой специалист, которому обещал показать меня, тоже, наверное... Терапевт, одним словом».

Семен Аверьянович тяжело вздохнул, осторожно задвинул ящики стола и стал собираться домой.

Шел Семен Аверьянович не спеша, и мысли его были уже дома. Он представил себе привычный уют квартиры, мягкий свет, широкий диван, на котором он приляжет после ужина и задымит папиросой...

Семен Аверьянович открыл дверь и едва переступил порог, как квартира огласилась звонким лаем. Посреди коридора прыгал и зло смотрел на него голенастый щенок. Лай перешел в сплошной визг. Из комнаты вышла жена.

— Барсик, нельзя!

— Что еще за чучело? — неприязненно глянул на собаку Семен Аверьянович. — Чей?

— Наш. Купила. Правда, хороший песик?

— Еще щенка не доставало! Выкинь! У меня голова трещит.

Пока хозяин снимал пальто, нес с яростным ворчаньем трепал его за штаны.

— Барсик, пошел вон! — притопнула на него жена.

Щенок отскочил и опрометью кинулся на кухню.

— Пусть поживет, Сеня. Я очень люблю собак. А этот... Умница!

— Ага! Сразу видно. Сейчас он сожрет полотенце.

Щенок трепал в коридоре большую тряпку.

— Барсик, отдай сейчас же!

Щенок ворчал, ворчал глазами и яростно дергал полотенце.

— Разве так учат собак? — Семен Аверьянович взялся за полотенце. — Охотничья, — мрачно заметил он. — Видишь, какие уши?

Щенок прыгал, вертел хвостом, но тряпку не отпускал.

— Да ты что, чучело этакое? Ипать? — засмеялся Семен Аверьянович. — Я сказал: отдай! Понимаешь?

Наконец Барсик отдал полотенце. Хозяин потрепал щенка по заправке, а тот, согласно правилам собачьей этики, вежливо хватал за фуку.

— Завтра же подари его мальчишкам во дворе, — сказал хозяин, вымывая руки.

Однако на следующий день щенок оказался еще дома.

Почему он здесь?

— Жалко, Сеня. Ведь живое существо!

— А я что — не живое существо? Я тебя просто не понимаю...

— Неужели тебе не жалко?

— Жалко! Вот поэтому надо отдать его в хорошие руки. Денька через два я сам найду ему хозяина...

Щенок принялся приучать хозяев к новому распорядку. Все лишнее надо убирать и закрывать. Ночью он объелся колбасой, намочил в калоши, наследил по всему полу. Следующей ночью изпрыв носок и устроился спать в духовке.

Жена негодовала и пыталась бить собаку. Но теперь ситуация изменилась. Семен Аверьянович взял щенка под защиту. Он зашел в охотничий магазин, купил ошейник и плетку. С этих пор началась пора забот и беспокойства. Надо последить, чтобы Барсик не ел, что попало, утром и вечером погулять. С прогулки оба возвращались разгоряченные, дрожа от усталости и голода.

Как-то приятель Семена Аверьяновича врач Самаров решил навестить его дома. Был вечер. В темном сквере его едва не сбили с ног. Из кустов мимо него, тяжело дыша, протопал человек с собакой на коротком поводке. Самаров поднял сбитую шляпу, рассмеялся и покачал головой. Идти в гости он раздумал.

Барсик вырастал в быстрого, сильного сеттера. Он настойчиво звал хозяина все дальше за город, в поля, на озера, в тайгу.

Однажды весной, когда на таежных прогалинах едва сошел снег, а воздух уже напоен пряным ароматом разбухающих почек, Самаров сидел у вечернего костра и корявой веткой поправлял огонь под котелком. Где-то в темноте бездонного неба курлыкали запоздалые журавли и ехидно перемигивались звезды. Из темноты на огонек вышел Семен Аверьянович.

— Ба! Какая встреча! Присаживайся, Аверьяныч!

В костре потрескивал валесжник, из котелка вкусно пахло утиной похлебкой.

Семен Аверьянович отстегнул от пояса пару уток, небрежно бросил их возле рюкзака и сел. Барсик прильнул рядом. Пес недружелюбно поглядывал на незнакомца и млеял от радости, когда на его голову ложилась рука хозяина.

— Ну, как здоровье? Когда к большому специалисту пойдешь?

— Да ну его! Без него обойдусь.

Самаров хмыкнул.

— Как сказать... Отличный у тебя пес. Где раздобыл такого?

Семен Аверьянович не успел от-



ветить. К ним подбежала собака Самарова. Она была очень похожа по масти на Барса.

Семен Аверьянович посмотрел на собаку, потом на приятеля, который еле сдерживал смех.

— Ах, так это ты мне подсуропил!

— Хорош? А? — захохотал Самаров. — Он любого вылечит. Ба-а-льшой специалист!

— Да уж куда больше! — тоже засмеялся Семен Аверьянович.

«Большой специалист», положив морду на вытянутые лапы, равнодушно смотрел на огонь умными агатовыми глазами и шевелил ухом при каждом взрыве хохота.

Рис. худ. А. Урюпина.

Электронная библиотека АКУНЬ, eib.akunb.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Цена 40 коп.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО